

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

АЛФЕРЬЕВ

Первоначальная редакция

Милый друг,

Мы с вами шли по одной дороге, — вы споткнулись, ушиблись, я продолжал идти, гордясь тем, что цел, и отчасти совестью того, что цел, — не очень долго вскоре после вас и я споткнулся, и я ушибся. Не скажу, чтоб ушиб напомнил мне о вас, раньше я больше думал о вас; но он отнял у меня возможность видеться с вами, — вы лежите, и я лежу. Оба мы выздоровеем, опять пойдем своею дорогою, — одной дорогой, — покуда придем к чему-нибудь, — хоть не к тому, чего нам хочется, а хоть к чему-нибудь, опять будем часто видеться, опять я буду сердить вас, опять [будете] говорить мне: «а вы работайте, работайте», — но когда возобновятся наши свидания? А мне хочется, чтоб и это время разлуки не пропало даром для нашей дружбы, — и вот мне захотелось показать вам, как я понимаю вас, как я ценю вас. Прочтите, — скажете ли: «да, я изображен верно»: если скажете, то моя повесть будет иметь успех, — я не скрываю от вас и этой другой своей цели — расчета на успех: что скрывать, вы слишком хорошо меня знаете: дружба дружбою, нежность нежностью, а самолюбьишко и расчетец все-таки тут же, подле дружбы и нежности. — Эксплуатировал я вас, когда мы шли, хочу эксплуатировать и теперь, когда мы с вами лежим. Черты живого, очень выразительного лица, передаваемые с любовью не слепую, но горячею, — факты, рассказываемые во всей живой их рельефности, должны дать моему рассказу яркость, которой не могли бы иметь бледные изобретения моей слабой фантазии. Я изменяю обстановку, насколько это нужно, чтоб не затрогивать самолюбий и не раскрывать семейных тайн. Но все существенные подробности я мог пересказывать без всякой перемены, а многие сцены, известные только вам и мне, я мог прямо передавать со всею историческою точностью. Это запас повествовательного богатства слишком соблазнительный для рассказчика с бедным воображением. Но, эксплуатируя вас теперь, я жду, что вы и на этот раз, как раньше, скажете: «пусть эксплуатирует, это полезно для других и потому приятно мне».

СПБ. 5 апр. 1863.

ФОТОГРАФИЯ

Бессонов просидел у меня целый вечер. Мы провели его очень приятно, в рассуждениях о высоких материях, которые — и предметы, и рассуждения — мы оба очень любим.

На другое утро я сидел и работал. Служанка вошла и говорит: «Бессонов вас спрашивает».

«Что такое?» — подумал я. Мы очень хороши с Бессоновым, но не до такой степени, чтоб бывать друг у друга беспрестанно, и вчера не думали видаться раньше, как недели через полторы, две. Что ж такое особенное могло бы случиться со вчерашнего вечера? — А главное, что ж это он остался в зале и прислал сказать о себе, а не вошел прямо сам в кабинет? Это странно.

Выхожу в зал. Опершись рукою на стол перед диваном, стоял незнакомый молодой человек, одетый очень изящно, — я плохой знаток мастерства одеваться, но даже я с первого взгляда заметил очень тонкий вкус в его совершенно простом костюме. И сам он показался мне человеком очень хорошего светского воспитания, — так свободна была его поза, совершенно простая, так грациозен поклон и шаг вперед ко мне, в ответ на мой поклон.

— Извините, — сказал я, — мне назвали фамилию моего приятеля, г. Бессонова.

Я отчасти сконфузился за свой гнусный бумажный татарский халат, за капанный стеарином, прожженный сигаркою и с прорехою на сиденье. — Служанка переврала фамилию. Сделайте одолжение, сядем.

— Нет, моя фамилия действительно Бессонов, — сказал он, садясь и подавая письмо.

Я развернул — записка от Панаева. «Не найдется ли у нас в журнале работы для г. Бессонова, который мне показался очень порядочным человеком (ну, Иван Иванович, вы прекрасный человек, как и я, и такой же мастер разбирать людей по первому знакомству, как я, — мы с вами уж отыскивали десятки очень порядочных сотрудников, от которых потом чуть не вешались и не душились), — он хочет в отставку, чтоб заняться литературною работою».

— Я посмотрю-с; поищу; может быть, найду что-нибудь для вас, — но рассчитывать на это, — может быть, но скорее нет.

Он хотел встать и раскланяться. Но так как я большой мастер вести разговор и часто говорю совершенный вздор, ни к селу, ни к городу, то я уж и продолжал, хоть с первого разу [видел], что делаю вопрос ненужный и глупый.

— Вы не родственник Илье Никитичу Бессонову, которого я ожидал найти вместо вас? — Произнося эти слова, я уж чувствовал нелепость: если б он был родственник Илье Никитичу, то, конечно, сказал бы Илье Никитичу, чтоб он познакомил его с Некрасовым или со мною, а не отправился б сам без рекомендации к Панаеву, который совершенно ничем не занимался в журнале. Но против моего ожидания он отвечал:

— Да, я его родственник.

— И в хороших отношениях?

— Да.

— Да ведь он очень хорошо знаком со мною и порядочно с Некрасовым.

— Я знаю.

Что за диво!

— Почему ж вы не сказали ему, чтоб он познакомил вас со мною или с Некрасовым?

— Потому что я не хотел пользоваться рекомендацією.

— Почему?

— Потому что не находил это удобным.

Я, наконец, вразумился теперь.

— Вы хотите, как пишет Панаев, выйти в отставку, чтоб заняться ли-

тегатуру: если у вас есть беллетристический талант, это недурно. Но если вы думаете собственно о журнальной работе, я должен вам сказать, что она обременительна и скучна. Это черная, почти машинальная работа, такая же [как] на службе.

— Я это знаю и писать повестей не могу, я могу годиться только для черной журнальной работы. Но я не для того выхожу из службы, чтоб заняться литературой, а ищу литературной работы, потому что хочу выйти в отставку. Надобно иметь средства к жизни.

— Разве у вас нет независимых средств к жизни?

— В настоящее время нет; и не будет.

— Это дело другое; в таком случае, в таком случае, вам, конечно, должно искать журнальной работы. Но это такое неверное искание. Нужно показать особые способности, чтоб иметь ее. Если они есть, вы будете иметь; но они довольно редки. Попробуйте, есть ли они у вас, вы найдете работу, — не у нас, так в другом журнале. Но само собою, вы должны в это время оставаться на службе, чтоб не остаться без ничего, — может быть, вы и не годитесь для журнальной работы, — а если и годитесь, эти связи устанавливаются не так скоро, — несколько месяцев вы все-таки будете необеспечены и часто не будете иметь работы.

— Я не могу сделать этого. Я через неделю должен подать в отставку.

— Да? Это другое дело. У вас вышли неприятности по службе?

— Нет. Но я должен выйти, потому что служба портит. Я вижу пример этого на Илье.

— На Илье Никитиче? Он — испорченный человек? — сказал я с удивлением.

Я видел тогда в Илье Никитиче одного из лучших людей, и бесспорно он был человек благородный, очень хороший гражданин.

— Да. Но видите, ему 28 лет, он статский советник, он свыкся с мыслью о карьере; а он получает 3 000 р. жалованья, уж приобрел потребность иметь тонкое белье и обедать в ресторане, платя за обед 1½ рубля и иметь к столу полбутылки сотерна. Он уж не годится, потому что не может отказаться от этого. Это теперь поздно менять дорогу, потому что приходится терять уже приобретенную карьеру, и перемена дороги соединена с временными лишениями, которые уж тяжелы ему. Он человек связанный. Через три года, когда мне будет 26 лет, со мною будет то же. Я хочу остаться человеком свободным.

— Ильа Никитич человек связанный и испорченный, потому что привык иметь тонкое белье? — повторил я, смотря на своего посетителя с его изящным туалетом и светскими манерами.

— Вы хотите сказать, что я одет лучше, чем он? Да, это моя потребность, но я еще могу теперь отказаться от нее. Через два, три года будет поздно.

Следовательно, он может рассчитывать на быструю карьеру? Да это и должно так быть: Бессоновы имеют связи, у них родственники выше ординарных генералов, влиятельные люди.

— Мне кажется, что можно и не приобретать вредной привычки, если вы наперед остерегаетесь и ненавидите ее.

— За это нельзя ручаться.

— Извините меня, но вы представляетесь мне человеком экзальтированным.

— Может быть; но я сам в себе этого не вижу.

— Хорошо. Вы говорите, что испортитесь через 2, 3 года. Я предлагаю вам оставаться на службе вовсе не так долго — несколько месяцев; в течение их вы еще можете не испортиться, а избежите риска.

— Есть особое обстоятельство, по которому я не [могу] этого сделать. Я чиновник особых поручений при министре внутренних дел. До сих пор мне давали мелкие дела. Теперь мне хотят поручить большую статистико-историческую работу, — он назвал работу, — вы видите, что она займет много времени — полтора года или два, важна и интересна. Вы согласны?

— Совершенная правда. Но что ж из этого?

— Бзявшись за нее, заинтересуюсь. Кроме того, и бесчестно отказаться от дела, за которое взялся. Вы видите, что я буду надолго обязан, и в это время из самой этой работы возникнут для меня другие такие же, — итак, я должен выйти в отставку теперь же, или становиться тем, чем стал Илья Никитич.

Этот Илья Никитич! Нашел страшный пример нравственного падения! Но у меня блеснула другая мысль: ему поручают работу, предполагающую большие сведения. Ясно, что служба противна его убеждениям, кроме того, что хочет испортить его жалованьем и карьерою.

— Позвольте спросить, вы где кончили курс?

— В здешнем университете.

— Кандидатом?

— Да.

— Держите экзамен на магистра.

— Я сделал это.

— Так поищите места профессора, это вернее журнальной работы. У вас остались связи с университетом?

— С немногими из профессоров.

Он назвал.

— Они руководят большинством совета, их мнение принимается **Щ.** (тогдашний попечитель), по вашему знакомству с ними я вижу, что вы магистр юридического факультета. В нем три кафедры вакантны, выбирайте, через два месяца получите какую угодно.

— Я не хочу деятельности, противной моим убеждениям. Никакая кафедра несогласна с моими убеждениями.

— Даже и кафедра? Помилуйте!

— Извините, мне странно слышать от вас это.

Ну, детина! Мы разговорились, — я стал подробно разбирать каждый пункт нашего предыдущего короткого объяснения, доказывая основательность своего мнения по каждой статье, экзальтированность его взгляда. Он слушал терпеливо, спокойно, возражал холодно и коротко, большею частью не оспаривал моих слов, не хотел делать этого, а только говорил: — «Ваш взгляд таков, — я не могу разделять его», — «Мой взгляд кажется вам неправильным, — я остаюсь при мнении, что он верен». — Я постепенно перешел в свою манеру — подсмеиваться, шутки мои не всегда отличаются соблюдением такта, оказываются часто против моего намерения колкими, — он принимал их совершенно хладнокровно и с видом какого-то снисходительного одобрения, с мягкою, несколько меланхолическою улыбкою, которая не сходила с его лица, как только разговор одушевился; в его глазах светилось проткое добродушие, — е этим взглядом, с этою улыбкою это лицо стало привлекательно. Так мы потолковали часа два. Он несколько раз входил в мой тон и сам подсказывал мне насмешливые обороты против себя тихим, несколько минорным тоном, в его голосе всегда [было] как будто уныние — это тогда же меня поразило — отчего это уныние, при страшной твердости и бодрости духа? — да, его общий образ мыслей печален, он все и день, и ночь скорбит как гражданин, — это было и очень забавно, и очень мило, — что это очень мило, это я оставил знать себя про себя — но что это забавно, я говорил ему, и он согласился, что это забавно, — и несколько раз смеялся над собою, то есть над впечатлением, какое он должен производить, — но оставался совершенно как наковальня, — крепко врыта в землю и сама имеет такой основательный вес, — ни своротить, ни покачнуть ни на волос, и как по ней ни колоти, она отзывается на удары, но ничуть не поддается — никакого следа на ней от молотка. Уперся на своем, и баста. «Что ж из того, если другим это кажется смешно? По-моему, нет», — вот и все. Так мы расстались. Я попросил его зайти дня через три, — что, может быть, я и найду какую-нибудь работу, а скорее не найду, — но, что важнее, потолковать еще, нельзя [ли] вас сбить с ваших мыслей. — «Напрасно»; и я очень хорошо видел, что совершенно напрасно, — «Конечно, но священный долг опытного человека не

оставлять без назидания восторженного юношу», сказал я, смеясь уже над собою. — Конечно, и юноша обязан не скрываться от назиданий. Зайду.

Видите, милый друг, как мало я выдумываю и изменяю, — ваша фотографическая карточка, не правда ли?

II

ПРОДОЛЖЕНИЕ О БОРИСЕ ДМИТРИЧЕ ШЕСТАКОВЕ

Дня через два мне случилось проходить мимо квартиры старого моего знакомого, Ильи Никитича Шестакова, — у меня было полчаса досужего времени, я зашел спросить о новом знакомце. <То, что раньше я не слышал о нем ничего от Ильи Никитича, нисколько меня не удивляло: в Петербурге бывает — по крайней мере, у меня — много таких знакомых, о которых я ровно ничего не знаю: кто, откуда, как они, — знаю только: часто бываешь хорошо знаком с человеком, не имея никакого понятия о его родных и родне.>

— У вас есть родственник, Борис Дмитрич, — почему я никогда не встречался с ним у вас да и вы ничего не говорили?

— Борис? Юноша. <Я ему читаю нотации, он не любит у меня бывать.> Впрочем, хороший юноша. Еще не установился, неизвестно, что из него выйдет, — может быть, и хороший человек. Только экзальтирован, — я его все холожу, поэтому он не любит бывать, когда у меня кто-нибудь есть. А говорить о нем нечего, потому и не говорил.

— То есть вы продолжаете обращаться с ним так, как раньше, когда ему было 16 лет, а вам 21? Естественно, что он не хочет таких отношений при ваших знакомых.

— Что, вы уж с выговором? А вы долго с ним говорили?

— Весьма долго.

— Ну, как же сами с ним говорили? Я думаю, так же, как я.

— И то правда. Он хочет в отставку — безрассудство, но, кажется, его [не] убедить. Ему хочется заняться журнальной работою, — способен [он] к этому?

— Если захочет.

— В таком случае расскажите о нем побольше, чтоб знать, что с ним делать.

Илья Никитич стал рассказывать.

— Как же вам не стыдно было говорить, что нечего было вам говорить о нем, — да он так как и есть, как мне показалось, — любопытный человек, — говорил я.

Точно, каждый пункт странного существа, обозначавшийся в его скромных словах разговора со мною, выставлялся с угловатыми украшениями в биографии, которую повествовал Илья Никитич. С тех пор, как Илья Никитич помнит его, он все такой и был кроткий и несколько задумчивый, будто флегматический, — с пяти лет, когда приехал в Петербург. — Например, любил шалить в детстве, много резвился, и все с соблюдением спокойствия, хладнокровия, не забывался ни на минуту в шалостях, а между тем переходил в играх обычные пределы детской опрометчивости, — в таком роде: тогда ему было лет 8, 9: сидел на окне в детской, которая окнами на двор, и, высовывая голову из окна, все смотрел в бок, на стену. — и смирно. Хорошо. Смотрят через минуту — нет Бори. — Боря, где ты? Сейчас ворочусь, мамаша, — раздается смирный голос Бори внизу, через окно. — Выглядывают с тревогою — Боря уж близко от земли, спускается по жолобу, — а квартира в третьем этаже. Через минуту возвращается, не запыхавшись, ничего. — Боря, да как это можно?

— Да ведь я, мамаша, рассматривал, жолоб-то подле самого окна, так хорошо достать рукою. — А как сорвешься? — Я подумал, как увидел, что как же сорваться? он не толст, не тонок, хорошо обхватывать, и я сильный, ловкий. — Ну, а если проволоки между листьями перегнули или тонки, и он

весь оторвался бы под тобою? — А вот этого я не сообразил, мамаша. Вино-
ват, мамаша, не годилось этого делать.

Рано стали в нем замечать, что при его мягкой послушливости почти во
всем дубовое упрямство в некоторых случаях. В первый раз показал он стран-
ную настойчивость лет шести, когда учился читать и читал уже очень бой-
ко. — Сидит Сережа и смотрит в книгу очень прилежно; мать, проходя
мимо, заглянула — книга лежит у него вверх ногами. — Что это, Боря? —
А я хочу и так уметь читать. — Вверх ногами-то? да зачем же? — Так мне
вздумалось, мамаша. — И выучился читать вверх [ногами]. И все так. Что
заберет себе в голову, так и делает. Сначала эти оригинальности относились
все к ребяческому вздору, как умение читать книгу вверх ногами, или как то,
что, услышав ходящий повсюду анекдот о Колумбе, поставившим яйцо на
длинный конек, он с месяцу трудился поставить яйцо, не раздавливая, пока
этот напрасный фанатизм не сменился успешным трудом над обучением
скворца говорить: «Боря, выпусти меня». — «Нет, еще нельзя, не умеешь
сказать, чего тебе хочется», — возражал Боря на невнятные звуки, — но
когда остался доволен чистотой выговора своего воспитанника, оставил
клетку на окно, покормил скворца из рук, поцеловал его головку. — «Теперь
скажи, чего ты хочешь?» — «Боря, выпусти меня». — «Хорошо сказал, из-
воль», — отворил клетку, скворец ступил на окно, оглянулся, подошел снова
к клетке, потерял о нее носиком, попробовал подскокить, хлопнул крыльями
раз, другой, закричал еще раз: «Боря, выпусти меня», взмахнул крыльями и
улетел. Боря все это время плакал и улыбался и долго смотрел из окна
вслед за полетом скворца и все плакал, — в этом уж был смысл, а ему было
только лет одиннадцать, — потом характер его упрямства стал яснее. Напри-
мер, он стал требовать, чтобы прислуга звала его «ты, Боря», а не «вы,
Борис Дмитрич», и опровергал возражения по методе в вопросах и отве-
тах: — Ты скажи, Марфа, я кто, мальчик? — Мальчик. — А Петров сын
Андрюша кто, мальчик или нет? Мальчик. — Ты его как зовешь?
Андрюша или Андрей Петрович? — Андрюша. — Он мальчик, и я мальчик,
стало быть, и я кто ж? — Боря. Мать находила это лишним, когда услы-
шал отец — вовсе сердился, прислуга не слушалась, но Боря не трогался
с места и не отвечал, пока [ему говорили]: «Борис Дмитрич, мамаша
зовут вас», выходили сцены, наконец все устали, а он упрямствовал и
так добился своего: «Боря, тебя мамаша зовут».

В это время было ему лет 12, и Илья Никитич потерял его из виду лет
на пять. Дмитрий Степанович, отец Бори, получил место губернатора в Сим-
бирске или Тамбове или где-то в тех краях. Илья Никитич не мог сообщить
мне, каким образом Боря лет через пять появился в Петербурге и поступил
в университет, только предполагал, что это не обошлось без ссоры с отцом,
но подробностей дела не знал, — я потом услышал их от матери Бориса
Дмитрича — сам он не любил рассказывать о своих подвигах.

Вылезание из окна третьего этажа по жолобу, обучение скворца словам
«Боря, выпусти меня», обучение домашних словам: «Боря, поди к мамаше» —
все это мало доходило до отца, но Боря подрастал, круг его мыслей и по-
ступков расширялся, стал проникать в кабинет отца.

Дмитрий Григорыч был человек совершенно честный, умный, знающий
дела, занимающийся ими, человек просвещенный, — но это нисколько не ме-
шало в его губернии твориться таким чудесам, каких в сказках не бывало, —
почему так, все равно, да нам и нет дела до этих чудес, для нас нужен
только сам Дмитрий Григорыч, и вот два-три случая из его управления.
Однажды поутру стал останавливаться народ у ворот ограды Рождественской
церкви. — Что такое останавливается народ! Подошел полицейский, пошел в
часть, донес, приехал пристав, посмотрел, поскакал доложить полицеймей-
стеру, полицеймейстер поскакал и доложил губернатору: «Узнать, кто», —
сказал губернатор. Полицеймейстер поскакал, протопол говорит: «Я ни-
чего не знаю; кто и как — не знаю». Тогда полицеймейстер поскакал
узнавать из источника. Какой же это источник, что, с кем и от кого отпра-
вился узнавать полицеймейстер и что это за происшествие, наделавшее

такой тревоги полицеймейстеру? — Происшествие было такое, что поутру увидели у церковных ворот привезенный ночью колокол пудов в 40, 50 весом, а к ушам привязана записка: «Сей колокол жертвуется Рождественской церкви неизвестным дателем для душевного спасения». Колокол новенький, с иглочки. Духовенство церкви перекрестилось с усердием: «Слава богу! уж мы давно прихожанам говорили, что полиелейный колокол у нас треснул, да прихожане-то у нас не усердны к церкви божий, — а вот господь и послал со стороны милость свою». Пошла доложить архиерею — то же повторил архиерей, велел отслужить молебен за неизвестного дателя и тащить колокол на колокольню. Тем дело и кончилось со стороны доброго дателя и духовной власти. Но когда полицеймейстер доложил об этом губернатору, губернатор вздумал спросить: «Кто добрый датель?» Какое ему было дело об этого? Никакого. Так, вздумал. Духовенство не знало доброго дателя, но на колоколе есть по обыкновению надпись, на каком заводе отлит: «отлит сей колокол, весом в 47 пудов и 15 фунтов, на заводе купца Рыбалкина», — да хоть бы и не было этой надписи, так все равно, можно было знать, что это дело не миновало рук купца Рыбалкина, другого колокольного завода нет на 300 верст кругом. Вот полицеймейстер и поскакал к купцу Рыбалкину. Купец Рыбалкин говорит: «Точно, колокол с моего завода. Мой приказчик и отвез нынешней ночью к церкви». — Кто добрый датель? — Не могу сказать, потому что запретил — для бога жертвовал, не для человеческой славы, — когда доброе дело получает славу человеческую, перед богом не имеет заслуги. — «Так и не скажете?» — Поклялся то держать в тайне. — Так и его превосходительству доложить? — Так и его превосходительству доложи. — Является полицеймейстер к губернатору: так и так, ваше превосходительство, не рассказывает.

— Не рассказывает? — Не рассказывает. — Привезите ко мне самому. — Опять поскакал полицеймейстер к купцу Рыбалкину, привез его к губернатору.

— Иван Федосенч, кто добрый датель? — Не могу сказать, ваше превосходительство, побоялся не говорить. — Не рассказываешь, Иван Федосенч? — Не могу. — В полицию. — Полицеймейстер вздохнул — он был приятель с Иваном Федосенчем — и повез Ивана Федосенча. Сидит Иван Федосенч в полиции, под секретом, никого к нему не допускают, семейство сходит с ума, Иван Федосенч, 60-летний старик, дрожит в холодной камере, потом угрожает, когда затопили, чтоб не замерз. В полицию на другой день является полицеймейстер: «Скажите, Иван Федосенч, губернатор больно очень гневается на вашу непокорность». — Не могу.

— Не можете? — Не могу. — Полицеймейстер вздохнул больше прежнего и повез Ивана Федосенча в острог. Сидит Иван Федосенч в остроге 4—5 недель, в конце пятой недели получается из Петербурга предписание: «Купца первой гильдии [Рыбалкина] выпустить и предоставить ему право жаловаться на незаконное заключение». Предписание [было] получено оттого, что архиерей послал донесение, — благо, что архиерей почел себя прикосновенным к делу. — Будете жаловаться, Иван Федосенч? — Как же мне жаловаться? У меня подряды, постройки, пожалуйся — разорят. — Да как же, Иван Федосенч, ведь он вас избидел? — Сильно избидел, правда. — Такое почетное лицо в городском обществе, ведь вы, можно сказать, у нас один из первых купцов. — Правда ваша. — Как же не жаловаться-то? — [Я] вам сказал, как мне нельзя жаловаться-то. — Стало быть, и это дело сошло с рук Дмитрию Григорьичу, а может быть и оно тоже еще не показывает в Дмитрие Григорьиче ничего особенного? Вот другое уж показывает.

Вдруг однажды поутру, часов в 10, являются по всем улицам благословенного губернского города и полицейские солдаты, и пожарные солдаты, и испившиеся пьяные, которые были забраны вчера, с крестами мелом на спинах, чтоб не убежали, и вообще мещане, без крестов, — значит, нанятые или выставленные на натуральную повинность, которые не убегут,

целая орда на каждой улице, и у каждого ордынца в руках ведро и мазила. — Что такое? — Ордынцы — каждый отряд по своей улице, по два, по три, — что такое? «Начинай», — раздается команда старшего ордынца, — мазилаки в ведра, и пошли писать желтой водяной вохрой все некрашенные заборы и деревянные дома. Владельцы домов подымают вопль, особенно сосновых домиков, новеньких, хорошеньких — новенькая сосна-то так белеет, лоснится на солнце, мило смотреть, — и через два часа уж нет, уж все замазано гадкою, мерзкою желтою глиняною размазною, от которой после первого дождя останется гнусный, грязный вид, — и точно, так и остался весь город замасан грязью. — А вы будьте благодарны, дурачье, — поясняют начальники ордынцев, — даром вам обходится, на городской счет.

А может быть, и из этого еще не видно ничего особенного в Дмитрии Григорьевиче? — Может быть. — Ну, так вот еще, — только это уж не один случай, а раз пять-шесть повторялся, пока не нужно стало повторять: «Нельзя, ваше превосходительство, — говорит правитель или старший секретарь правления, — закон говорит противное». — Какой закон, укажите. — Правитель канцелярии или старший секретарь берет с этажерки том Свода законов, раскрывает, указывает статью. — Это закон? — Закон, — отвечает тот. — Он мешает? — Мешает, ваше превосходительство. — Дмитрий Григорьевич выдвигает ящик стола, бросает туда том Свода законов, задвигает ящик: — Где закон, укажите. — Правитель канцелярии или старший секретарь молчит. — Ступайте и пишите, как велю. — Тот идет и пишет, и это выдвигание и задвигание ящика сходит с рук. Впрочем, оно повторялось немногое раз, пяток, и только сначала, а потом стало ненужно: и без того уж писали, как следовало по мнению Дмитрия Григорьевича. Или, может быть, и в этом нет ничего особенного? Так уж в этом есть особенное.

Но вот об этом уж наверное нельзя сказать, что тут не было ничего особенного и потому это не сошло с рук Дмитрию Григорьевичу. — Тоже все однажды нашли на улице убитого старика, — эка важность, подумаешь, — каждый месяц бывала не одна такая находка, — но вот подите, почему-то на этот раз город вздумал удивиться, и пошли толки: «климовцы, климовцы, это климовцы его убили». В городе была, видите ли, вера, будто завелась в нем климовцы, новая секта, у которой вера в том, что надобно забивать до смерти жен, для своего и их душевного спасения, и это на основании слов: «кто погубит свою душу, тот спасет ее», — а душа это кто ж, [если] не жена? следовательно, кто убьет жену, тот спасет свою душу — и жену тож, потому что она невинная мученица. Существует ли такая секта или нет — разумеется, неизвестно, — а скорее что нет, да и наверное нет; точно, многие мужья в этом городе, как и во всяком городе, забивали до смерти своих жен, но без всякого сектантства, не потому, чтоб думали этим спасти свою душу, а потому, что рука у них была тяжелая, — и не по иностранным словам: «кто погубит...», а по родной нашей поговорке: «жену люблю как душу, трясу как грушу». И опять же если и были климовцы, то ведь сами же горожане говорили, что по климовской секте следует забивать жен, а старик какая же жена? — Вздор, — сказал Дмитрий Григорьевич: — никаких климовцев нет, я это узнавал, и старик убит просто в драке. — Поискали убийцу по кабакам, не нашли, похоронили старика, и тем окончил дело Дмитрий Григорьевич. — Но в городе рос и рос вопль: «климовцы! климовцы! губернатор покрывает климовцев! климовцы всех нас станут убивать!» — словом, до того взбудоражились, что пошел слух по всему русскому царству. Приехала комиссия, подняла дело. Дмитрий Григорьевич урезонивал ее, что климовцы, если б они и были на свете, никак не могли убить старика. Комиссия заговорила: «губернатор мешаает делу; прикрывает климовцев. Первее следствие произведено местною полициею с послаблением». Правитель канцелярии говорил Дмитрию Григорьевичу: «не мешайте, пусть делают, что хотят, а то вам плохо будет». — «Не попушу преследовать невинных людей, которые ни в чем не виноваты», — говорил Дмитрий Григорьевич и продолжал обуздывать комиссию. Она уехала, не открывши ничего, — приехала другая, важнее, кото-

рую уже не мог обуздывать Дмитрий Григорьич, — насажали подон острог людей, нет места сажать более, наняли большой дом, и его насажали полный, наняли другой дом, — и тот набили битком. Дмитрий Григорьич не мог мешать, но продолжал урезонивать комиссию на словах. Правитель канцелярии продолжал говорить свое, Дмитрий Григорьич продолжал делать свое. «Пусть будет мне плохо, а молчать не хочу при таком безобразии», — и точно, через несколько времени пришла ему отставка, почетная, перемещение в Петербург на место без дела, классом выше губернаторского, с сохранением оклада, он сказал: «не хочу», взял чистую отставку и уехал в свою деревушку, — он имел душ 200. Половина острога и два дома три года стояли набитые народом по стариковскому климовскому делу, потом стали понемногу опорожняться, — иных выпускали, иных сослали, наконец через 4 года совсем опорожнились дома; человек десятка два было сослано. Еще года через два пьяный мужик проговорился, что это он убил старика, без всякого климовства, а шли они вместе из кабака, пьяные, поругались, старик его хватил по уху, и он хватил старика по голове топором, который на грех имел за поясом. И этого мужика сослали, разумеется.

— Да, из этого случая видно, — сказал я Илье Никитичу, рассказывавшему мне эти анекдоты, — что Дмитрий Григорьич был не только человек с норовом, а тоже и с характером. Так вот половина характера в его сыне от него, а другая не от матери ли? мать какого характера? видно, кроткая и рассудительная женщина?

— Да.

— Так другая половина характера от нее!

— Экий умница! Как догадлив! — сказал Илья Никитич и поцеловал меня в маковку: точно, мать кроткая, тихая женщина. <Какой вы психолог! Должно быть, что другая половина характера от нее.>

Я махнул рукою на себя, как имею привычку делать, когда получаю или заслуживаю такую похвалу. Да что, такие ли истины я открываю в разговорах! Раз я сказал, что у Гоголя был великий талант, в другой раз — что Коперникова система была очень важным шагом вперед для астрономии, в третий раз — что пицца имеет влияние на здоровье, — такие мысли я изрекаю очень часто, мои приятели, слыша их, пожимают плечами, иногда целуют меня в маковку с похвалою, люди малознакомые спрашивают шопотом: «что это? что это? еще не так стар, чтоб впадать в детство». Приятели со вздохом отвечают им: «да, он рассеян, это только оттого, что рассеян», но малознакомые не принимают этого извинения, покачивают головою. Но за эти же вещи, попадающиеся в моих статьях, я заслужил имя софиста, недобросовестного парадоксиста и человека с ужасным образом мыслей и мало ли еще какого нехорошего человека. Вот как различна судьба одних и тех же слов в разговоре и в печати.

Оно точно, не требовалось Ньютоновской сообразительности, чтоб понять, что у такого мужа жена была кроткая и тихая, — каков был ее характер от природы, все равно, хоть бы родилась графиней Зрини, она все равно стала бы через несколько лет замужества ниже травы, тише воды. Но муж снисходил в ином к ее болезненности, благодаря этому согласился взять с собою Боря в провинцию, не отдав его в корпус или в училище Правоведения, как хотел. Через год по приезде в провинцию Боря стал просить, чтоб его отдали в гимназию, потому что учиться с товарищами веселее, чем одному; отец не согласился на это, а стал говорить, что через год, через два все-таки надобно отправить его в корпус. Боря приготовился к отпору. Он учился хорошо, но когда начались сборы, он сказал, что посылать его нельзя — он не выдержит экзамена. Как так не выдержу — экзамен легкий. — Никак не выдержу. — Не выдержишь в третий общий класс, поступишь во второй. — Ни в какой класс не выдержу. — Как так? — Да так. — И пояснил, как. Через час мать сказала ему что-то по-французски. — Я не понимаю, мамаша, скажите по-русски, я позабыл. И все позабыл — и географию позабыл, когда на другой день стал учить географию, и грамматику позабыл, готовился даже забыть

уменьше читать. Отец раза два вбивал в него память чубуком, — не вбил, только притупил. После третьего раза Боря сказал: вы видите, папаша, побои мне не помогают, а только одно мученье, так вы не мучьте меня, или я уйду. — Куда? — Куда-нибудь. — Дмитрий Григорьич побил его побольнее и запер, сказавши: «выпущу, когда попросится». День первый прошел, день второй прошел, Боря не просил, чтоб его выпустили; прошло две недели — то же. — Отец увидел, что дело доходит до слишком большой глупости, да и мать просила; отец сказал: «ступай, выпусти». — «Пойдем, Боря, папаша простил». — Боря поблагодарил мамашу и сказал: «вы не огорчайтесь, о чем я вас попрошу». — О чем? — Оставьте меня тут еще на неделю? <В меня, сказал с гордостью отец.> Отец развел руками. «Пусть сидит». Боря еще просидел неделю. Но после того отец уж не пробовал запирать его. Через несколько столкновений, в которых Боря держал себя таким же образом, отпустил в университет, чему не поверил бы, если бы ему было сказано это года за три. Из отношений Бориса к отцу стоит рассказать еще о двух приездах его в деревню. Понятно, что Дмитрий Григорьич, очень тяжелый в семействе, не был особенно церемонен ни с прислугою, ни с мужиками, на резиденцию к которым удалился через два года после отъезда сына в университет. Когда сын приехал в деревню на следующее лето, он в первый день приезда просидел за столом смирно, только поглядывал на отца, ругавшего неуклюжую прислугу, на другой день сказал, что обедать будет один <потому что брань за столом тяжела>. — Почему? — спросила мать. — Если батюшке угодно, я ему скажу, это относится к нему. — Отец позвал его, пошли объяснения, тянулись неделю, две, Борис Дмитрич уехал без успеха. Через месяц возвратился, и отец в остальное время сдерживался за обедом и вообще сильно стеснялся при нем. <Не дрался и не производил отеческих наказаний.> На следующее лето произошла сцена очень странная. Отец по приезде сына держал себя смирно, но Борису Дмитричу уж казалось это мало. Он раза два заговаривал, что у кого мягкий характер, тот способнее управлять нашими мужиками, которые из расположения делают больше, чем из страха, и что они любят его мать. Отец слушал и хмурился. Через несколько дней Борис съездил в соседний губернский город, воротился и опять завел тот же разговор. Дмитрий Григорьич опять нахмурился, но разговор шел общий <без всяких применений к делу> и поэтому достаточно было хмуриться. Дня через два сели пить чай. Отец налил себе сливок. — Позвольте, батюшка, — сказал Борис Дмитрич и взял стакан. — Что это, Боря? — Пойдемте со мною. — Вышли на крыльцо. Борис Дмитрич кликнул собаку и дал ей выпить чай со сливками. — Теперь пойдемте назад. Я полагаю, что этот чай не годится для вас. — Отец задумался. Сын пошел к нему в кабинет после чаю, и говорили, ничего. Через час сказал: — А что, папенька, в самом деле, пошлите-ко спросить, что с нею. — Позвали слугу, он справился и сказал, что с собакою корчи, должно быть издыхает. — «Скажите, Василий, Малаше (служанке, которая заведывала чайным прибором), чтоб она внимательнее мыла чашки, в них иногда бывает сор, бог знает какой, может быть вредный, мыши у вас везде бегают, а вы их кормите мышьяком, они его могут затащить везде. И вообще, Василий, скажите экономке и повару, чтоб они бросили этот мышьяк, с ним опасно. Пусть держат хороших кошек, это гораздо лучше». — Дмитрий Григорьич сидел бледный. — Видите, папенька, какой мог быть случай. — Это действительно была страшная сцена. Я услышал ее от матери Бориса Дмитрича, не знаю, не преувеличена ли она ее робким воображением и любовью к мужу. Должно быть, на самом деле было что-нибудь менее страшное, но я не решился спросить Бориса Дмитрича, как было по правде, и не жалею, что не спросил. Но — по крайней мере по рассказу матери — Дмитрий Григорьич, помолчавши несколько минут по уходе слуги, заговорил прямо.

На следующее лето он хотел было итти дальше — облегчить положение матери, которую мучил своими капризами муж, но ничего не мог сделать,

потому что мать слишком любила мужа и сама ежеминутно поддавалась ему. — Но понятно, что Константин Григорыч бросил всякую мысль вмешиваться в сыновние дела.

По окончании курса Борис Константинович брал от своих еще с полтора года деньги на свое содержание, небольшие деньги, потому что при своем не очень большом поместьи отец, хотя жил очень скромно, но все-таки любил играть роль и делал иногда обеды с вином из Петербурга, да Борис Дмитрич и не хотел брать много, ему довольно было 500 р. в год. Выдержав экзамен на магистра и поступив на службу, он, разумеется, отказался от всякого пособия от родных.

<Зачем и какими судьбами воплощенное упрямство любило одеваться изящно? Я этого никогда не мог понять, и если б изображал выдуманное лицо, никак не захотел бы соединить эти два качества, не имеющие никакого родства между собою!>

Вот каков был характер моего нового знакомого: смирный, кроткий, задумчивый, будто печальный, будто холодный, все обдумывающий вперед, на всякие замечания отвечающий: «я знаю», все делающий по зрелом размышлении, но воплощенный упрямец, какого только видел свет, ко всему этому — с какой стати — присоединяющий очень большую заинтересованность своим туалетом, пристрастие изящно одеваться.

Для через три, четыре мне случилось дело к профессору *** — назову его хоть Ивановым, чтоб назвать как-нибудь, — одному из тех, о которых упоминал мой новый знакомец как о своем знакомом. Я застал все семейство Ивановых за завтраком, и мы тут же начали толковать с Ивановым о деле, занимавшем нас. Завтрак кончился, и мы перешли в кабинет хозяина, г-жа Иванова перешла вместе с нами, потому что дело интересовало и ее, женщину умную и образованную. Через четверть часа слуга доложил — не ему, а именно ей: приехал Борис Константинович. — Сырнев? спросил я. — Да, — отвечала она, встала и, обратившись к мужу, сказала: «Скажи ему, что я сейчас буду готова». Мой новый приятель вошел. — «Жена сейчас будет готова», сказал [Иванов]. Она через минуту возвратилась. — «Поедем, Борис Константинович», — и они скрылись.

Мы продолжали говорить с Ивановым, читали, сличали, справлялись, — дело, о котором мы рассуждали, было очень важно, и мы были так глупы, что сильно интересовались его тогдашним ходом — впрочем, я, в похвалу себе, должен сказать, что это помешательство у меня очень скоро прошло, — так скоро, что я не поверил бы, что был заражен им несколько времени, если б не осталась памятью тому целая огромная статья, начинающаяся глупым восторгом. Иванов, человек более честный и потому еще более забавный, чем я, кажется, до сих пор думает, что мы не были глупы тогда, — но все равно, глупы мы были или нет, что видели важность в ходе важного дела, мы видели важность в его тогдашнем ходе, лезли из кожи вон помочь его ходу, — пресмешно! — и два часа этих занятий им пролетели как одна минута.

Дверь кабинета отворилась, и вошла m-me Иванова в сопровождении своего кавалера. У нее в руках была связка, очевидно происходящая из Гостиного двора, у него — другая, явно того же происхождения. — «Посмотри, что мы накупили для Зиночки», — сказала m-me Иванова мужу. Связка развязалась, явился кусок материи — из объяснений я понял, что это барез, — другой кусок — кисей, которую назвали как-то особенно, <третий кусок тряпка что-то вроде тюля> потом пошли платочки, рукавички и всякое добро в этом роде, предназначенное для Зиночки, очень милой девочки лет двенадцати, — теперь уж почти взрослой девушки, и славной девушки.

Что такое? Если б он хотел занять кафедру, было б естественно, что прислуживался хозяйке для дружбы с хозяином, но — это была бы низость, это непохоже на человека, который не захотел знакомиться со мною через родственника, моего приятеля, — а кроме того, ведь он же и не хотел искать кафедры, хоть ему уж и предлагали, — что ж это такое? Едет

из Коломны в Б. Конюшенную, чтоб отправиться с дамою, уже немало-дою, в Гостиный двор, провести там полтора часа, закуная там наряды для 12-летней девочки, — возвращаться, чтоб рассматривать эти наряды, — и точно рассматривал, показывал, объяснял, m-me скажет о какой-нибудь статье покупки два слова, а мой новый знакомец двадцать слов, профессорствует по части цвета, рисунка барежа и кисей, — голос тихий и лицо задумчиво, но и по лицу и по голосу видно и слышно, что скорбящий гражданин наслаждается, и m-me Иванова, видимо, признает его авторитет по этой части и выражает ему благодарность за совет, — и Иванов слушает равнодушно, как будто это так и следует молодому магистру юридического факультета равняться с сидельцами лавок Пегребова, Рябова, Янона, Иооста сведениями по части барежей. Меня разбирал смех.

— А. И-на (назову ее хоть так) — спросил я m-me Иванову, — давно monsieur Алферьев произведен вами в dame d'atours вашего двора?

— Да, я ему очень благодарна, он никогда не тяготится помочь мне своими советами, — отвечала она без малейшей насмешки. <Только он одно имеет дурное: его не вытащить из магазина.>

— Monsieur Сырнев, простите, — А. И-на, — и вам нескучно это?

— Нет, отчего же скучно, когда у меня есть вкус и знание? Это доставляет мне большое удовольствие.

Началось объяснение, и я узнал, — вещь, уж не удивительная после того, что видел, — узнал, что мой скорбящий гражданин находится в отношениях модистки-советчицы не к одной Лизавете Семеновне, а ко всем дамам и девицам, с которыми знаком, утром ездит с ними в Гостиный двор и по магазинам, вечером целые часы и часы рассуждает с барынями и барышнями о их нарядах, — да ведь не то, что говорит любезности по поводу нарядов, — какое! — говорит серьезно, будто сам барышня, о том, какой покррой лучше, какой цвет идет к лицу, какая прическа изящнее; пользуется и наслаждается и очень гордится своим авторитетом в этом деле.

— Борис Константинович, да вы бы издавали модный журнал, — сказал я ему в насмешку как-то раз, когда мы побольше познакомились с ним, — сказал в насмешку ему, и вздохнул, вспомнив то время, когда я был сотрудником одного модного журнала и даже писал в нем несколько раз обозрение мод, при таком феноменальном отсутствии всякого понятия о них, которое сделало бы честь любому трапписту, — о, какое стесненное было это время, когда следовало бы веселиться, пользоваться молодостью, — не мне, я тогда уж не был молод, — нет, не мне... а было нельзя — грустно было видеть это, быть причиною этого... ну, да ничего: еще будет время, вознаградится. — Впрочем, что ж я все сбиваюсь на свои дела. — Борис Константинович, да вы бы издавали модный журнал, — сказал я ему в насмешку.

— Я думаю об этом, — отвечал он очень солидно: — вы смеетесь над этим, но вы тут совершенно неправы. Моды, наряды — это очень хорошо и очень важно.

Плюшкин не по одному халату, а отчасти — даже и от очень большой части — и в душе, я привык с глубоким пренебрежением смотреть не то что на такую крайность, какую видел в Борисе Константиновиче, а даже на самое умеренное развитие изящных наклонностей и светской грациозности в мужчине. Женщина — наша игрушка: игрушка должна быть нарядна, это ее право, это ее утешение, она должна заниматься этим; это источник ее бедной, жалкой возможности выбиваться из нашего порабощения, — это для нее дело серьезное, вопрос об ограждении своей личности, о приобретении какого-нибудь наслаждения жизнью. Но в мужчине мысль об изяществе своей личности казалась мне признаком пошлой пустоты. А в Борисе Константиновиче я видел такую дикость, которой и постигать не мог. — Заниматься своим изяществом — это в мужчине наклонность, положим, пустая, глупая, но все-таки понятная. Но он идет в тысячу раз дальше: быть руководителем дам в выборе нарядов, проводить в этом занятии целые часы, утешаться этим — такая странность совершенно нелепа.

И точно, я долго не мог понять возможности ссоединения в одном человеке несоответствующих качеств и стремлений, какие видел в Борисе Константиновиче. Очень долго я не был в состоянии характеризовать его в своих мыслях иначе, как словами «нелепый человек».

Что за уморительный человек! — Положим, еще заниматься собственным изяществом — расположение может быть забавное, может быть глупое в серьезном человеке, когда очень развито, но все-таки понятное, — но быть руководителем дам в выборе нарядов, шляться с ними по магазинам — это что-то просто дикое.

И точно, дикое. Если б я изображал выдуманное лицо, мне никак не пришло б в голову придумать соединить, и [не хватило бы] таланта, чтоб представить соединимой эту вторую черту к существенным его качествам, — вовсе нет в ней никакого родства с ними, но чем более я узнавал его, тем менее видел эту любовь к изящному костюму в нем — не отдельная <а только часть общего> черта, а что во всем в жизни проявляется у него <общая тенденция> сильная склонность, соответствующая этой черте, — изящество, изящество во всем. В каких комнатах приходилось ему жить, это будет скоро рассказано, в плохих, даже очень: но он украшал эту свою жалкую комнату очень изящною статуэткою, изображающею Рашель, пережившую все его остальное движимое имущество, — мы смеялись сквозь тоску, перед разлукою с ним, перечитывая список вещей, которые он брал с собою в дорогу. Это был особый случай: дорога была очень дальняя, и ему по некоторым обстоятельствам неудобно было самому заняться покупкою вещей, он поручил это Илье Никитичу, и я зашел — всего, всех вещей на очень, очень дальнюю дорогу он хотел иметь только на 50 или 60 рублей, — а в это время у него были деньги, но он скупился, и справедливо, обрезывал свои надобности до последней возможности, — я качал головою, перечитывая слишком скромный список, и говорил: — Илья Никитич, купите еще несколько пар теплых чулок, фланелевую рубашку, и т. п. — я набирал много таких принадлежностей, пропущенных в списке — ведь это же необходимо. — Хуже вас я знаю, что это необходимо? — отвечал Илья Никитич, — да ведь он не возьмет, бросит. — Правда, — сказал я. Зато те немногие вещи, которые он хотел иметь, он описывал в подробности, чтоб купили именно такого сорта, и на другой день я залюбовался на них: ручку для стальных перьев он предпринимал купить резную из красного коралла, в виде оленьего рога, почтовую бумагу — соломенного оттенка, стальные перья — непременно в зеленой гуттаперчевой тисненной коробочке, портфель — непременно в английском магазине, с замочком известного вида, замочком совершенно особенным: в середине четырехугольной пластинки лежачее колесо с зубчиками, оно повертывается — и портфель заперт, если хотите запереть еще плотнее, оно повертывается другим манером и тогда снимается с четырехугольной пластинки и кладется в карман, — на том месте, где оно было, на пластинке вырезаны какие-то арабски, — очень, очень мило, мне раньше не случалось видеть таких замочков — но очень хорошо. Коротко говоря, половина вещей казалась взятою со стола светской девушки, другая половина — из кабинета светского капризника. Но верх совершенства составлял портфель. Борис Дмитрич велел купить его непременно в Английском магазине и очень отчетливо обозначил длинную его характеристику.

Все было изящно до крайности, и каждая вещь была такого сорта, что стоила вдвое дороже просто хорошей такой же вещи, — но всего этого изящества было на 50—60 рублей. Если б мне, ходящему в Плюшкинском халате, привелось — что никак не приведется — отправиться в такую дорогу, мне все-таки понадобилось бы вещей рублей на 150. — Он брал с собою несколько книг, в том числе Шекспира, — Илья Никитич нашел очень красивое издание, в английском переплете. Борис Дмитрич, не считывавший на такую удачу, восхитился ею, и долго не мог отвязаться Илья Никитич от его похвал за Шекспира.

Мне не приходилось слышать, как он говорит по-французски, потому что все двенадцать языков бегут моего присутствия, по моей совершенной неспособности понимать слова, произносимые на каком бы то ни было языке, кроме русского. Но Борис Дмитрич говорил мне о том, что будет писать по-французски для европейской публики. Из этого я заключил, что он очень хорошо владел французским языком. Что ж такого? получил хорошее светское воспитание. Что ж вы думаете? он озадачил меня, когда, наконец, принес мне главу из романа, который он писал по-французски. Читаю — и постепенно разеваю рот — едва ли найдется во Франции десять писателей, которые так свободно и энергически владели бы своим языком: сжатость, сила, легкость изумительные, решительно первоклассный французский писатель по слогу. Как это он умудрился? Оказалось, что это его величайшая амбиция — совершенство во французском языке, и он бог знает сколько упражнялся в этом. «Это очень изящный язык и составляет мою страсть», — объяснял он.

Захожу я к нему однажды — он сидит и рассматривает коллекцию модных картинок — и хоть бы мужских, а то женских. — «Что это вы, Борис Дмитрич?» — «Это очень занимательно для меня», — и что же потом открылось, когда мне случилось бывать вместе с ним в обществе? он по целым часам рассуждал с барышнями и дамами об их нарядах, да ведь не то, что говорил любезности по поводу нарядов, — нет, какое! говорит серьезно, как будто сам барышня, о том, какой покррой лучше, какой цвет лучше, — прислушиваешься — да, он авторитет по этой части, с ним советуются, он приглашается «поедемте со мною в магазин выбирать», его даже просят, полагаясь исключительно на его выбор: «Вы мне завтра купите шляпку, Борис Дмитрич». — «Борис Дмитрич, да как же это?» — говорю я. — «Что ж такого? я очень люблю это и знаю в этом толк». — Он чрезвычайно гордился тем, что знаток в дамских нарядах и модах. — «Борис Дмитрич, да вы бы издавали модный журнал», — говорил я ему в насмешку, говорил в насмешку ему, а сам вздохнул, вспомнив то время, когда я был сотрудником одного модного журнала и писал несколько раз обозрение мод <не зная ни тогда, ни теперь, какая разница между кисею и блондою и кружевами>, при таком феноменальном отсутствии всякого понятия о них, которое сделало бы честь любому трапписту, — о, какое тяжелое было то время, когда следовало б веселиться, пользоваться молодостью — не мне <у меня не было молодости, или у меня всегда будет молодость, хоть до 100 лет доживу, все буду такой же, как в 20 лет, надеюсь, иначе не хочется жить, иначе бесчестно жить> — я тогда уж не был молод, — нет, не мне, а было нельзя, нельзя, — как болело сердце, когда видел это, когда был причиною этого! Ну, да ничего, еще есть время, вознаградится, но что ж я все сбиваюсь на себя, — Борис Дмитрич, да вы б издавали модный журнал! — Я думал об этом, — отвечал он серьезно: — вы смеетесь над этим, но вы не правы, это очень хорошо и очень важно.

Плюшкин не по одному халату, а отчасти — даже от очень большой части — и по душе большой диник, пренебрегающий всякой вещью хорошего сорта <кроме писчей бумаги, которую люблю хорошую>, не умеющий ни стать, ни поклониться и в глубине души гордец, я привык с глубоким пренебрежением смотреть не то что на такую крайность, какую видел в Борисе Дмитриче, а даже и на умеренное развитие изящных наклонностей и светской грациозности, — по крайней мере, в мужчине, — женщина наша игрушка, игрушка должна быть нарядна, это ее право, это ее утешение, это источник ее бедной, жалкой возможности выбиться из нашего порабощения, это для нее дело серьезное, это вопрос об ограждении своей личности, о приобретении какого-нибудь наслаждения жизнью, — но в мужчине это, по моему мнению, было признаком пустоты. Но Борис Дмитрич заставил меня признавать законность своих модных и светских наклонностей, меня, дикие взгляды которого заставляли иногда моих собеседников прятать под стол руки только потому, что на руках были, как принято у порядочных людей, <при визитах> перчатки.

Я уверен, что величайшим из его личных прискорбий было о том, что он не красавец, он даже не мог называться видным мужчиною, — росту ниже среднего, худощав, костлявый, с угловатыми чертами лица, с светлорусыми волосами форменно русского оттенка, с серыми глазами, тоже форменно русского цвета, он не имел в своей наружности ничего замечательного. Разумеется, кроме этих форменных примет, написанных на 90 русских паспортах из любой сотни, можно б характеризовать его вид более дробными чертами, — но для моей цели это было бы уж слишком: и без того я описываю слишком близко, — но из фактов его характера и жизни только те, кто знал его, только общие наши друзья узнают — чью биографию, — а подробно изображать значило б прописать его настоящее имя полными буквами для слишком многих, которым вовсе не нужно знать это.

Кто не друг, тому какое ж дело до фамилии? тому нужно только знать, что вот какие люди бывают на свете, — и даже на русском свете, — и что вот один из этих людей жил вот как, поступал вот как и ушибся, как будет мною описано, — это интересно <а как его зовут, и того, с кем я раз...>

Если в его характере были еще какие-нибудь стороны, может быть и более замечательные, чем страсть к изяществу и знание большого толку в дамских нарядах, то пусть они высказываются сами по мере того, как пойдет рассказ, а в первое время моего знакомства с ним главный вопрос определялся именно этим изяществом при решительном намерении покинуть службу «чтоб не испортиться». Жил он очень скромно, и одевался очень скромно, но изящно; и изящество, и скромность, все это стоит денег, кроме того обзаводился изящными вещицами, — поэтому не было у него ровно ничего денег в запасе. Впрочем и без слабости к изяществу трудно ж было бы составить ему капиталец в 23 года, когда он до определения [на] службу не хотел брать от отца более 500 р. в год, а определившись на службу, отказался и от этого пособия. Спрашивалось теперь: чем же он будет жить, бросивши службу, пока найдет себе литературную ли или другую работу? Наличие его кассы могла продлить его земную жизнь на две, на три недели, не более. А что затем? Если б я мог найти ему работу, тогда отлично. Но я одарен таким свойством, что никогда не умел отыскивать работы для хороших сотрудников, — умнее распорядиться! Я представлял ему этот резон, он увидел, что от меня ему ждать нечего, согласился, что нет у него никаких других надежд скоро открыть себе новый источник доходов, — но в отставку все-таки вышел, как сказал, через несколько дней после того, как мы с ним познакомились.

Несколько месяцев провел он в очень стесненных обстоятельствах — продавал вещи — но много ли можно получить за туалетные вещицы? стал продавать одежду, продал часть белья, жил, отказывая себе во всем, сотни рублей достало месяца на три, на четыре, удалось ему поместить где-то статью, за нее получил рублей 30 — опять хватило на месяц, потом и нет ничего, сильно нуждается. Наконец, стали улыбаться две перспективы: одна недурная и довольно верная, а другая очень хорошая, но слишком неверная. Русское общество пароходства и торговли имело тогда агентов по крайней мере вдвое больше, чем все остальные торговые и пароходные общества целого света, и особенно много что-то на Востоке, и вот кто-то из имеющих влияние на это общество сказал Илье Никитичу, что, может быть, достанет его родственнику место агента общества в Бейруте или Смирне. Борис Константинович приходил в идилическое восхищение от этой надежды. Светлое небо Востока, роскошная полутропическая растительность, синее море, — он беспрестанно повторял стихи, неизвестно мне откуда взятые, но показавшиеся мне действительно милыми:

В благовонной древесной тени,
 Созерцая, как солнце пурпурное
 Погружается в море лазурное,
 Убаюканный ласковым пением
 Средиземной волны... —

я буду сидеть и мечтать, ходить и мечтать, лежать и мечтать,—прибавляя он, прочитав эти стихи своим мелодическим тихим голосом, — да, он давно мечтал о юге, он все толковал, что отправится на южный берег Крыма или в Закавказье, а теперь берег Палестины или Малой Азии — какое же сравнение! восторг, восторг! — Мы с Ильёю Никитичем, конечно, отчасти сочувствовали и стихам о пурпурном солнце, полосами золотящем лазурное море, но считали еще более приятным обстоятельством то, что за мечты под благовоною древесною тенью у этого моря благородное общество дает 4 000 р. в год. Борис Константинович одобрял и эту карманную сторону перспективы, но пленялся собственно мечтательною частью ее. Но она была неверна, слишком неверна, мы перешли от сомнения к полному безверию в нее, — а Борис Константинович все еще мечтал и из-за этого ожидания, не слушая наших настояний, медлил согласиём на другую, не мечтательную, но все-таки хорошую вещь, шедшую к нему в руки: уроки географии, статистики и еще чего-то в заведении спекулянта, готовившего мальчиков и юношей к выдерживанью вступительного экзамена во всякие учебные заведения, от корпуса до университета. Плата за урок была хорошая, 2 р. в час, уроков много, до 15 часов в неделю, так что годовой бюджет образовался [6] слишком в 1 000 рублей. «Берите, он не может долго ухаливать за вами, ему нельзя ждать, он же вам говорит, что принужден будет просить другого, берите скорее», — твердили мы. Но Борис Константинович после продажи зимнего пальто — это было в начале весны — занимался продажей своего фрака и пил чай с хлебом, изредка обедая, а уроков не брал, все носясь мыслями в Бейруте и в Смирне. Два-три месяца прошло, слухи о Бейруте и Смирне совершенно затихли, и должно быть, очередь доходила до галстуков; пурпурное солнце и лазурное море, наконец, задернулись туманом даже от глаз Бориса Константиновича, он отправился к спекулянту и взял уроки. — Экий вы счастливец, Борис Константинович, — сказал я, когда он объявил мне об этом: всякий другой нашел бы уроки уже отданными, — удивительно, — за безрассудных счастье! Похвалив его за благоразумие, которое он, наконец, оказал, я не вытерпел и стал подсмеиваться над ним: «Какая ж в вас последовательность, Борис Константинович? Не хотите читать лекций в университете, потому что не можете читать сообразно с вашими убеждениями, а преподавать Географию Ободовского и Статистику Горлова беретесь, — верно, эти книги совершенно соответствуют вашим убеждениям?» <У меня всегда такая манера: когда нельзя или поздно подсмеиваться, я всегда начинаю подсмеиваться, раньше я остерегался говорить это, думая, что Борис Константинович не станет ли в самом деле на такую точку зрения, а теперь было безопасно: Борис Константинович не отказался и всегда подсмеиваться над тем, что я одобряю, когда дело уж сделано, и насмешки.> — Раньше я боялся высказывать такой взгляд, — пожалуй, в самом деле брякнет: «Да, это бесчестно, и я не сделаю этого», — но теперь он взялся, значит, обдумал, и уж нельзя сбить его с толку. — И точно, он остановил меня с самым серьезным видом.

— На поверхностный взгляд это может казаться непоследовательностью. Но это совершенно различные вещи: вступая на кафедру, я обя­зываюсь излагать науку, как я ее понимаю, не так ли?

— Так.

— А здесь что я обя­зываюсь делать? приготовить к экзамену. Я не берусь сообщать моего взгляда, от меня требуют только сообщения известного количества фактов. Там, я если берусь за дело, я должен развивать в человеке человека, здесь я только обязан приготовить мальчика или юношу к экзамену, то есть к исполнению известной формальности, в которой, впрочем, нет ничего дурного, исполнение которой полезно для него. Поймите, что это две вещи совершенно различные и что, находя невозможность исполнять одну, я могу исполнять другую.

— Понимаю, — сказал я.

Да и к чему спорить? Пожалуй, он был и прав. Вот это долго меня затрудняло: почему всегда приходится говорить ему: «оно, пожалуй, и так,

если хотите, вы правы» — и в то же время хохотать над ним, — почему нет возможности ни опспорить его, ни чувствовать, что он рассуждает дельно. Но потом я увидел отчего это: он возводит всякий свой личный вопрос к общим принципам, против которых никто не спорит, и с этой высоты тянет логическую нитку до своего уголка, чего никто из рассудительных людей не делает, он серьезно принимает за норму действий то, что <по моему глубокому убеждению> для всех нас игра слов. Кто станет спорить о том, что надобно поступать добросовестно? Борис Константинович и хватит вам в ответ эту истину, вы по оплошности скажете: «да, я с этим согласен», а он из этого и выведет такую штуку, что ему нельзя оставаться на службе или искать места профессора, — и вывод правилен, — вот почему видишь, что результат нелеп, смеешься, а опровергнуть не можешь.

Итак, надобно было согласиться, что Борис Константинович поступает совершенно основательно в том, что берет на себя скучное и в сущности глупое дело, приготовление мальчиков к экзамену, — дело, которое не хуже его может исполнить всякий встречный грамотный юноша, и находит противным своей совести браться за дело очень полезное и важное, на которое очень мало вполне способных людей и к которому он способен, как слишком немногие из этого малого числа. Но только что порешился этот вопрос с такою основательностью, как вышла новая история.

Недели через полторы после этого основательного разрешения вопроса человек очень влиятельный в Русском обществе приехал к Илье Никитичу и сказал, что место агента — готово, устроено, пусть Борис Константинович собирается в Бейрут. Илья Никитич отправился сообщить ему это приятное известие. Лицо Бориса Константиновича отуманилось и он глубоко вздохнул.

— Что ты, Боринька?

— Как это жаль, как это жаль! — в прискорбии повторял Борис Константинович.

— Чего жаль?

— Того, что это место погибло.

— Как погибло?

Он объяснил Илье Никитичу, как оно погибло, и мне потом повторил тот же аргумент, с тем же прискорбием. Он, видите ли, дал слово содержанию пансиона, принял на себя обязательства и не может взять его назад.

— Да послушай, Борис, ведь он ничего не потеряет от твоего отказа, ведь на эти уроки можно найти хоть десять человек, которые будут отлично давать их, ведь ты не то что сделаешь отказом от своего обязательства вред приготавливаемым тобою или затруднение содержанию пансиона, ведь этого ничего не будет, а напротив, окажешь услугу кому-нибудь из своих друзей, очень достойному человеку, нуждающемуся в уроках, передав ему эти уроки, которые довольно выгодны. Так ли?

— Конечно, так; но вы смотрите только на одну сторону дела, на частные обстоятельства, а тут есть более важное соображение, общий принцип; дано слово; принято обязательство; можно ли отступить от него из-за личной выгоды? я говорю: нельзя; потому что данное слово должно быть соблюдено независимо от того, выгодно ли или нет соблюдение его, иначе исчезает всякая обязательность условий, договоров, подрывается основание связей между людьми...

Илья Никитич не дослушал, рассердился, махнул рукою, выругал Бориса Константиновича и ушел. <Когда мне случилось видеться с Ильею Никитичем через несколько дней и я услышал от него эту штуку, то уж и я не мог переварить эту историю, эту выходку Бориса Константиновича, хоть вообще любил его, и не почувствовал возможности защищать и доказывать пред Ильею Никитичем основательность решения Бориса Константиновича по своей методической привычке. Оспаривая намерения Бориса Константиновича в разговорах с ним, я обыкновенно защищал их, когда говорил без него с Ильею Никитичем, — у меня уж такая привычка подсмеиваться в глаза, говорить за глаза не то, что в глаза. Но тут и я спасовал:

это уж действительно походило на мономанию, которую и за глаза нельзя защищать.>

После того очень долго Борис Константинович читал стихи о пурпурном солнце и лазурном море совершенно печальным тоном, со вздохами, — видно было, что жертва, принесенная им для его мономании, на этот раз была очень тяжела для него. <Илья Никитич очень долго досадовал на него, да и я тоже, хоть и не так долго, и по моему мнению, в этом случае был совершенно прав.> Вот таким образом Борис Константинович устроил свои дела: по смешной фантазии бросил службу, которая обещала ему очень хорошую карьеру и на которой он был бы полезен; по фантазии, еще более смешной, не захотел вступить на другую дорогу, тоже недурную в материальном отношении, дорогу самую чистую, благородную, на которой он был бы — уж мало сказать: полезен, должно сказать: чрезвычайно полезен; довольно надолго подверг себя тяжелой нужде; теперь, наконец, имел порядочное пропитание, но без всякой перспективы чего-нибудь сносного в будущем.

Если такой человек, как Илья Никитич, уже выходил из терпения, глядя на него, то в мнении других своих прежних знакомых и родственников он совершенно уронил себя. У него было хорошее положение в обществе, у него были прекрасные надежды в будущем, он был прекрасный молодой человек, которого всякое почтенное семейство с радостью видело у себя в доме, который был принимаем за недурного жениха даже в семействах почти аристократических, — ему угодно было обратиться в человека ничтожного, на которого все благоразумные люди смотрят с чувством презрительного сострадания к его помешательству и подозрительного отвращения к его дурным правилам.

И я не скажу, чтоб его родные и знакомые были неправы. <Я сам чувствовал к нему нечто подобное тому, что они, хоть и понимал.> Безрассудство и безрассудство — иначе нельзя было назвать того, что сочинил [он] над собою. Я полюбил его, потому что это безрассудство происходило из благородных мотивов; я уважал его, потому что видел в нем и твердость воли, и силу ума, и возвышенность стремлений; но — но — но все-таки и я смотрел на него с состраданием, как на человека болезненно экзальтированного до нелепости. Подобно Илье Никитичу, я предсказывал ему, что он со своими благородными мыслями, чистыми намерениями, великолепными усилиями будет делать только вредную себе и другим и смешную путаницу во всем, к чему будет прикасаться. Илья Никитич говорил это серьезно и сурово, с гневом любви, я — весело и шутливо, с пустым балагурством; он принимал и назидания Ильи Никитича, и мою иронию с одинаково снисходительно-спокойною, несколько грустною улыбкою. <Она еще яснее его слов говорила нам то, что с ясностью говорили нам и его слова: по мне, вы между плохими людьми может быть и сами плохие люди; но вы мне жалки с вашим пошлым благоразумием, и, конечно, я... Так прошло с полгода. Борис Константинович перестал, наконец, вздыхать, читать стихи о пурпурном солнце и лазурном море, рана, полученная им от потери места в Малой Азии, зажила>, которая показывала его непреклонность еще яснее, чем его слова, а и слова его были достаточны ясны: «Я смешон вам, — говорил он, — но почем знать? может быть, вы жалки мне. У вас нет преданности истине. Вы не хуже меня знаете ее, вы убеждены в ней, но вы не хотите применить ее к жизни. Я хочу и буду действовать по убеждениям и внушать их другим», говорил он своим тихим голосом, с холодностью, которая всего больше пугала нас. Не было никакого сомнения, что он настроит много бед, и не себе одному, потому что, как все фанатики, он любил впутываться в чужие дела <давать советы, принимать на себя содействие, из советника становиться помощником, из помощника — руководителем, из руководителя — повелителем и решителем>, не оставаться зрителем, а становиться советником, не оставаться советником, а становиться действующим лицом. Само собою, что наши ожидания не замедлили оправдаться — еще бы не оправдаться!

Прошло с полгода после того, как я познакомился с Борисом Константиновичем, месяца три после того, как [он] потерял Малую Азию. Эта рана уж зажила в его душе; я уж не слышал от него стихов о пурпурном солнце и лазурном море, с глубокими вздохами; а своим новым положением в свете, то есть потерей всякого положения в обществе, он был очень доволен. Однажды я зашел к нему с очень приятным известием, что отыскал ему литературную работу: один из моих знакомых вздумал издать перевод «Истории Греции» Грота; половину перевода он рассчитывал сделать сам и спросил у меня, не имею ли я знающего человека для перевода другой половины. Я рекомендовал Бориса Константиновича, мой знакомый поручил мне переговорить с ним. — «Один том я берусь перевести, — сказал он, — больше не ручаюсь». Почему же? «Я предвижу в моей жизни приближение катастрофы, — очень счастливой, но изменяющей весь характер моей жизни». — Можно спросить, что такое? — сказал я. — Нет, это тайна, — отвечал он.

Недели через две я застал Бориса Константиновича запечатывающим очень толстое письмо. — «В этом письме катастрофа, на которую я намекал вам», — сказал он. — Можно узнать, в чем она состоит? — Еще нет. Завтра все будет решено, и тогда будет видно всем, — прибавил он с пафосом и торжественным довольством, — состояние, которого он никогда не обнаруживал: видно было, что дело слишком важно для него, если он не мог хоть на минуту не дать высказаться некоторому волнению. Я стал говорить о деле, по которому зашел, — переводе Грота, он плохо слушал и отвечал и, прощаясь, сказал: «как счастлив тот, кто встретил и полюбил женщину с высокою душою!» — Конечно, — шутя отвечал я, — очень счастлив, — при двух условиях: если он и сам человек с высокою душою и если женщина с высокою душою тоже полюбит его. — Это разумеется само собою, — серьезно отвечал он. — И еще третье условие: если в этих любящих людей с высокими душами есть деньги, — дополнил я. — Он улыбнулся с снисходительным состраданием. — Ясно: возвышенная любовь с безденежьем, — подумал я, затворяя дверь: несчастный, загубит судьбу какой-то женщины и, вероятно, порядочной, Глупость и горе. — И я покачал головою.

Через неделю я узнал все. Точно, была глупость и вышла из нее беда, — впрочем, не совсем такая, как я предполагал.

Большая часть знакомых стала холодно смотреть на Бориса Константиновича, когда он устроил свою карьеру по своим воззрениям, и почти все родные вознегодовали на него, а он, конечно, перестал бывать у презревших и вознегодовавших. Но было одно семейство, занимавшее средину между знакомыми и родными, в котором он не заметил ни негодования, ни пренебрежения, которое, напротив, стало даже будто больше прежнего поддерживать его. Уж и по одному тому, что слишком сократилось число других его посещений, он стал довольно часто бывать в этом доме, где встречали его с приветливостью, даже с уважением.

Эти полу-родственники, полу-просто знакомые были вот в каком родстве с ним. Сестра Ильи Никитича, то есть двоюродная сестра Бориса Константиновича, была за полковником Бессоновым, этот Бессонов служил в провинции, а брат его Андрей Федорыч и жена Андрея Федорыча Серафима Антоновна жили в Петербурге, и вот они-то остались в хороших отношениях к Борису Константиновичу одни из родных, если могли называться родными; в строгом смысле слова — не могли: брат человека, женатого на двоюродной сестре, уж седьмая вода на киселе; но все-таки Борис Константинович и Андрей Федорыч говорили друг другу «ты» по-родственному, а Серафима Антоновна называла Бориса Константиновича кузенком.

То, что они остались дружны с Борисом Константиновичем, уж много говорит в их пользу. И точно: Андрей Федорыч очень ценил Бориса Константиновича, потому что умел ценить всякого и умел видеть, какую пользу может извлечь из каждого. Ему было лет под тридцать, он не имел ни

блестящих способностей, ни особой учености, но все-таки был, а еще более считался, одним из ученых людей в своем министерстве и очень дельным составителем всяких ученых, административных и законодательных записок и проектов по своему ведомству. На этой репутации, не совершенно незаслуженной, и была основана успешность его карьеры. Тогда он ждал себе действительного статского советника, — теперь уж получил и, без сомнения, поднимается довольно высоко по должностям. Есть люди, которые с умственными своими способностями умеют распорядиться, как отличный хозяин небольшого поместья с своим поместьем: средства невелики, но ничто у него не лежит даром, ничто не пропадает, — и смотрите, он получает больше дохода, чем другой с поместья вдвое, второе большего. Так Андрей Федорыч поступал и со своими знаниями, — все, что ему было известно, шло у него в дело. <Вы, может быть, прочли всего Шекспира, не один [раз] всего Жорж Занда и все-таки не понимаете, какое употребление можно сделать из всего, наверное не сделали никакой пользы службе, — Андрей Федорыч прочел только один роман «Жак» — и нашел в нем, что есть французы, которые осуждают Наполеона I за страсть к войнам, не ослеплялись его победами, — и два раза поместил этот очень верный взгляд в официальные записки, очень уместно, так что посмотрите, что из этого вышло: он писал какой-то проект правил для ярмарок после сотни исторических книг по статистике, когда ему случилось прочитать двух-трех экономистов, он стал очень хорошо вводить высшие экономические соображения во всякий вопрос, — например, записка о ярмарках: тут кстати было у него и такое соображение: «при настоящем тарифе нельзя ожидать сильного влияния иностранной промышленности на развитие ярмарок в наших внутренних и восточных губерниях; но так как правительству наше расположено по мере возможности приближаться к системе свободной торговли, то без всякого сомнения в будущем, при лучшем устройстве путей сообщения...» >

А впрочем, Андрей Федорыч был человек честный и неглупый и понимал в делах, — все в том смысле, в каком на безрыбьи рак рыба, — один из тех людей, которые на вершок выше глупых и бесчестных людей и имеют право отзываться о глупых людях с презрением, называть бесчестных людей бесчестными, но которые сами плоховаты и пошловаты, если судить строго, — чего вовсе не следует делать. И наружность у него была такая: росту несколько ниже среднего, с красивыми, тонкими чертами лица, волосами ни белокурыми, ни темными, довольно жиденькими, но совершенно удовлетворительными <совершенно приличный и благовоспитанный>, с мягкими манерами. Как умел он пользоваться своими талантами и знаниями, так он пользовался и всем, между прочим и знакомыми. Он любил заводить знакомства и не манжировал ни перед одним знакомым, потому что из каждого извлекал что-нибудь пригодное для себя, — так он нашел полезную сторону даже и в Борисе Константиновиче, из которого, кажется, нельзя было бы извлечь никакой служебной пользы. И когда я увидел это, то подивился, как же мне не пришло в голову, что в этом отношении Борис Константинович действительно пригоден для него. Служебное значение Андрея Федорыча основывалось на том, что он человек умный и ученый. Поэтому он старался входить в круг умных и ученых людей, — у него бывали некоторые профессора, кое-какие литераторы, кое-какие артисты, — это много помогало его карьере. А Борис Константинович был очень пригоден, чтоб составить компанию им, он был в этом отношении для Андрея Федорыча то же, что хороший повар для людей, основывающих свою карьеру на гастрономических наклонностях. При Борисе Константиновиче не могло быть пробелов в серьезном разговоре, резкие парадоксы и давали темы для ученых бесед, и оживляли их.

<Но нельзя требовать — и Андрей Федорыч, как человек умный, не требовал, чтоб человек нужный, полезный нам служил бы только нашим орудием. Борис Константинович давал темы и живость литературной и ученой компании собиравшихся, но предпочитал ей женское общество.>

Борис Константинович стал очень хорошим краеугольным камнем уче-

ной и литературной компании, собиравшейся у Андрея Федорыча. Борис Константинович очень хорошо исполнял полезное назначение, из-за которого дорожил им Андрей Федорыч, но, потолковав с нею полчаса, час, уходил от нее из кабинета в гостиную, к дамам. <Женское общество было его любимым обществом.> Андрей Федорыч не жаловался на это, потому что странных и резких мнений, высказанных Борисом Константиновичем в какие-нибудь полчаса, довольно было для живого и непрерывного течения разговора в кабинете в весь остальной вечер. Андрей Федорыч, как человек умный, знал, что нельзя же требовать от человека, чтоб он только служил нам, и не мешал ему отдаваться его наклонностям. А женское общество было любимым обществом Бориса Константиновича.

Раньше, когда он бывал во многих светских домах, Серафиме Антоновне доставалось мало вечеров проводить с ним, и он не занимал ее. Теперь, когда исчезли другие знакомства, она <стала и ее сестра, девушка, стала> стала первым другом Бориса Константиновича, и скоро дружба перешла в любовь. <Как возникла в Борисе Константиновиче эта любовь, как шла она до того времени, когда дело приблизилось к катастрофе их отношений, историю этой любви я нашел в бумагах самого Бориса Константиновича. Через несколько времени по отъезде Бориса Константиновича из Петербурга, его бумаги были переданы Илье Никитичу, и мы с Ильей Никитичем пересматривали их вместе, а от Ильи Никитича перешли в мои руки. Борис Константинович несколько раз начинал вести дневник, когда его жизнь приобретала в его глазах особый интерес.>

Через несколько времени по отъезде Бориса Константиновича из Петербурга его бумаги были переданы Илье Никитичу, Илья Никитич отдал их мне, я нашел между ними несколько тетрадей дневника, — Борис Константинович начинал вести его несколько раз, когда его жизнь приобретала особый интерес в его глазах, <и я беру несколько отрывков из той части,> и половина одной тетради заключает историю его любви к Серафиме Антоновне. Беру из этой тетради несколько страниц.

«Я обращал слишком мало внимания на мою кузину С. Ч. Она женщина замечательного характера. Я убедился в этом ныне. Я нашел у них незнакомую даму и спросил у Лизы, кто она. Лиза отвечала: «это Ефремова, институтская подруга сестры». — Почему я раньше не видел ее у кузины? — Раньше они не бывали друг у друга, теперь возобновили знакомство. — Почему же они не бывали друг у друга три года? и почему ж теперь они возобновили знакомство? — Я не знаю, какая-нибудь случайность, — сказала Лиза и переменяла разговор. Мне показалось, что она знает, но не считает себя вправе сказать, и это заинтересовало меня. Я пошел к Андрею Федорычу и спросил его, кто такая это Ефремова. — «А ты не слышал? — сказал он: — романтическая история, которая наделала шуму с месяц тому назад, — влюбилась в негодя, который, подкутивши у Луи, стал хвалиться связью с нею, — конечно, от нее все отвернулись. Серафиме стало жаль ее, и она, как видно, захотела сделать, что может, чтоб развлечь и утешить ее. Мне, признаюсь, это не совсем нравится; но ты знаешь мое правило: жена не ребенок, ее нельзя водить на помочах, — да я и сам защитник эманципации женщин. <Какое мне дело?> Я говорил ей, но она сказала, что считает это своею обязанностью, — я не стал противоречить. Конечно, это даже и благородно, если хочешь».

Еще бы не благородно! Осел!

— Почти весь вечер я просидел, по обыкновению, с дамами. Баронесса Линденфельс мне не понравилась, несмотря на свое несчастье. Я не могу иметь выгодного мнения об уме женщины, которая при голубых лентах на платье надевает зеленые перчатки. Но кузина хорошо пользуется моими наставлениями: она была одета как нельзя проще и со вкусом. Впрочем, у нее от природы много вкуса.

— Я не мог бы так часто и долго сидеть с Линденфельс, — сказал я кузине. — Как вам не скучно с нею? Она пустая женщина. — Почему вы знаете, что мне с нею не скучно? — отвечала она. — Но — договаривайте,

кузина. — Мне нечего договаривать, — сказала она. Но когда я уж совершенно забыла о Линденфельс, кузина сказала: «У вас грубое сердце, Борис». Я понял. — Вы напоминаете мне о Линденфельс? — Ей было, кажется, неприятно, что я угадал. Но она сделала над собой усилие и сказала: — Неужели, Борис, непростительно поскучать, для того, чтоб поддержать и утешить? — Не непростительно, кузина, а напротив, прекрасно. Но слишком добродетельно. А я, вы знаете, не люблю добродетели. Если б тут было хоть небольшое самолюбие, кузина, все-таки было бы лучше. Но чистая добродетель — это так скучно. — Почему ж вы знаете, что тут нет самолюбия? Вы такой скептик, Борис, что можете открыть его. Она все-таки баронесса Линденфельс, а я не более, как Чекмазова. Эта история забудется, она опять будет в обществе, которое выше доступного мне, — может быть, у меня есть расчет на это!

Я несколько смутился. Как она умна! Вчера я едва заметно высказал это подозрение, и она поняла намек. — Вы слишком добродетельны и слишком злы, как все слишком добродетельные, кузина. — Да, Борис, мне было больно слышать вчера ваши слова: «Линденфельс как бы то ни было все-таки Линдельфельс».

Точно, я только это и сказал вчера. Кто другой понял бы эти слова, сказанные мною вскользь. Она очень умна. — Мы так давно знакомы, Борис; в последнее время мы так часто видимся, так много времени проводим вместе, и вы все-таки так мало знаете меня. Это горько. — Да, я был несправедлив к ней.

После опять был такой разговор. Но мы с Серафимой были уж слишком безжалостны к Лизе, стали порицать ее за то, что она пренебрегает искусством одеваться, — чуть не довели ее до слез. Нет, это несправедливо. Если она становится серьезнее, если она много читает, как кажется, — это не мешает ей оставаться очень милою девушкою и любить наряды, без любви к которым женщина не женщина, да и мужчина — пень, а не мужчина. Я показал бы своего нового знакомого в стейриновом халате тем, которые вооружаются против изящества в мужчине».

Я несколько поморщился, читая эти строки, ясно относящиеся ко мне, но <как верный историк,> считаю малодушiem выпустить их. <Наверно есть еще у него, попадаются еще кое-какие размышления обо мне.

Я решаюсь попросить его из любви к человечеству поехать со мною к Левинскому в его обычном костюме и виде, это было бы хорошо, потом гравировать это с надписью...>

«Когда я вошел, кузина скоро встала и ушла. Через четверть часа она возвратилась, и ей случилось взять меня за руку — я удивился. — Кузина, отчего у вас такие холодные [руки]? — Это ничего, я умывалась. — Вы умывались? — Да, чтоб освежить лицо. — Я посмотрел ей в лицо. Она сконфузилась. — Кузина, вы хотели скрыть, что у вас заплаканы глаза. Но следы остались. — У меня? Заплаканы глаза? Но вы с ума сошли, Борис. Мы так счастливы с Андреем.

Меня нельзя обмануть. Да и может ли Андрей Федорыч составить счастье такой женщины! Она много, много выше его. Он пошел. Она должна чувствовать это.

Через час я сидел у них. Он был не в духе и как-то вовсе некстати сказал пошлость о женщинах и женах — «это игрушки, на которые приятно смотреть, но с которыми неприятно жить. Я совершенно разделяю мнение коммунистов, отвергающих брак. Жениться — это глупость». — Пошляк, неизлечимый пошляк. И хорошее понятие имеет о коммунистах, отвергающих брак. Тебе, глупое животное, не понять, что такое коммунизм и что говорят коммунисты. Они говорят, что ты осел и варвар, вот что они говорят».

«Борис, забудьте то, что я вчера говорила вам. Забудьте, забудьте, умоляю вас. С. Ч.»

Эта записка, вложенная между листами дневника, на самом деле не имела такого эротического, романического значения, какое можно бы пред-

положить по ее восклицательному характеру. Слова, которые просила забыть Серафима Антоновна, были вовсе не признанием в любви к Борису Константиновичу, а только признанием, что она много страдает от мужа <человека прозаического, Борис Константинович вынудил, ее нельзя было винить в том, что она высказалась, — Борис Константинович видел ее глаза заплаканными, видел мужа сердитым и вынудил у нее признание в том, что было для него ясно и без ее признания. Скрывать было уж нечего>. Более поразительным образом обнаружилось, что в ней пробудилось мучение <сердца> совести, и стремительно бросается ласкаться к мужу, целует его, садится к нему на колени, — то есть «пойми же, Борис, что я иду в объятиях мужа спасения от преступной страсти к тебе» и вместе с тем: «видишь ли, как очаровательна я в моих ласках — почувствуй это, тиран моего сердца» — вообще в ее кокетстве был довольно крупный пересол. Борис Константинович принимал все за чистую монету: и ангельские свойства, и томные взгляды, и ее страдания от пошлости мужа, и восплалялся. — За догадку Бориса Константиновича после ее мытья рук, что она страдает от мужа, за ее кротким отрицанием этого явного страдания, разумеется, последовало признание, что действительно она страдает, но что, впрочем, Андрей не виноват, что их натуры слишком различны, стремления слишком противоположны, — и дня через четыре Борис Константинович уже получил записку, на которой я остановился в цитированьи его дневника. <Эта записка была> Я видел его запечатывающим роковое письмо, это было недели через три после получения записки, приказывающей ему забыть ее слова. Конечно, приказание забыть привело вынуждение у нее полнейшего признания — сначала в невыносимости ее положения, потом в бессилии бороться с чувствами, которые она хотела изгнать из своего сердца, — какое это чувство, к кому оно — Серафима Антоновна почла неудобным высказать с первого же разговора, — надобно было, чтоб эта тайна была вырвана у нее после нескольких приступов, — но Борис Константинович не стал ждать формального объяснения — к чему оно, когда они понимают друг друга? разве он не видит, что она разделяет его чувство? — И вот на другое утро в мою комнату вошел Илья Никитич с сердитым <и насмешливым> видом.

Конечно, Борис Константинович не мог забыть ее признания, забыть которое она просила его, он почувствовал еще более участия к ней, — кажется, что он уж и раньше успел влюбиться в нее — по крайней мере так надобно думать по отрывку из его дневника, который я привел, — объяснения следовали за объяснениями, и дело скоро стало получать серьезный вид.

Около того времени, как из симпатического слушателя Борис Константинович стал обращаться в человека, говорящего Серафиме Антоновне о своей любви, я познакомился с Чекмазовым. Это случилось так, что Андрей Федорыч встретил меня у Ильи Никитича, узнал, что я литератор, и пригласил к себе в пятницу, сказавши, что у него по пятницам собираются ученые и литераторы. Я по обыкновению не сумел отказаться, по обыкновению посовестился не быть, сказавши, что буду, и знакомство началось. Мне оно не было интересно. Ровно ничего не зная об отношениях, я человек не слишком наблюдательный, да и бывал у Чекмазовых изредка, сидел почти постоянно в кабинете, дам и молодых людей, составляющих их общество, видел почти только за ужином, да и то с другого конца стола, потому до самой катастрофы решительно и не подозревал настоящих отношений Бориса Константиновича к Серафиме Антоновне.

Человек не наблюдательный, я не заметил в Серафиме Антоновне ничего особенного. Дама высокого роста, с каштановыми волосами, с очень белым цветом лица, хозяйка, довольно внимательная к гостям, — заметила, что я люблю грузди и грибы, послала на мой конец стола целую тарелку их, — все это прекрасно, что же мне еще наблюдать! Я слышал несколько раз от других посетителей отзывы, что Серафима Антоновна очень недурна собою, некоторые даже называли ее роскошно женщиною,

очаровательною женщиною, — прекрасно, я очень рад, но это до меня опять не касается. Почему? Вот почему между прочим: я знаю очень многих милых женщин, — каждая женщина мила, — мила лицом, хотел я сказать, — если у нее в лице виден ум и доброта, — но эту миловидность я признаю за очень многими, пожалуй, за большинством женщин, но из этого не выходит для меня никакой надобности всматриваться в нее, — я иногда в полной набитой зале Большого театра не находил двух женщин, которые могли бы называться красавицами, — одну я всегда видел, а двух, по правде сказать, очень редко. Поэтому многие говорят, что я, должно быть, слишком требователен. Если женщина не урод, и если у нее в лице выражается ум и доброта, ее лицо мило; поэтому очень многие женщины, пожалуй, большинство женщин... но красота — это совершенно иное дело. Этих милых женщин с такими лицами очень много, и на всех на них нельзя же смотреть, не достанет времени.

«Ну, да. потому что у меня совершенно особые понятия о красоте, — я не всегда находил в целой полой зале Большого театра двух женщин, которых признал бы красавицами — одну я всегда видел, но двух — далеко не всегда, даже очень редко. Я слишком требователен. Почему это? Это другой вопрос, это не относится к нынешнему моему рассказу, довольно того, что я слишком требователен и потому не очень засматривался на нее. Здесь мне надобно было только объяснить, почему я не всматривался в Серафиму Антоновну, которую находят очень красивою женщиною, и почему я только привожу только отзывы других об этом, а не говорю, понравилась ли она мне, — я в этом не судья, потому что судья слишком строгий.»

На другое утро после того, как я видел Бориса Константиновича запечатывающим письмо, из которого, по его словам, должна была произойти катастрофа, вошел ко мне Илья Никитич с недовольным лицом и злою усмешкою. — «Извольте-ко почитать произведение моего брата, которого вы защищаете», сказал он, подавая мне письмо, и сел, с обидным для меня торжеством какого-то досадного удовольствия, не спуская с меня глаз. — Да что ж читать, вы так расскажите, Илья Никитич, — сказал я, соображая, что в письме есть что-нибудь очень неблагоприятное. — А, вы хотите увернуться, давайте ж сюда, — он взял у меня письмо, — я сам прочту вам, восхищайтесь.

«Как человек просвещенный, стоящий выше предрассудков, вы поймете, Андрей Федорыч, что я должен был поступить, как поступаю, обращаясь к вам с прямым объяснением фактов, и что вам необходимо с достоинством и спокойствием принять ту неизбежную развязку, которую я сообщу вам. Серафима Антоновна и я, мы любим друг друга. Ее благородная натура выше предубеждений и мелочных мотивов. Она сказала мне, что любит меня и что бедность не страшна ей. Правда, мы будем жить скудно: люди подобные мне не могут доставлять житейских удобств тем, кого они любят. Но те женщины, которые способны полюбить таких людей, и не нуждаются в пустых мелочах, которыми дорожит большинство. Поэтому не огорчайтесь о Серафиме Антоновне. Она будет счастлива в бедности и темной доле, которую будет разделять со мною. Завтра в 12 часов я приеду за нею. Надеюсь застать вас, чтоб пожать вам руку и, если нужно, утешить и укрепить словами дружбы и чести. Ваш навсегда Б. С.»

— Вы знаете Чекмазова? Как вам нравится такое обращение к почтенному моему родственнику Андрею Федорычу?

Я почесал в затылке.

— А ее знаете?

— Видел мельком раза два, — отвечал я, довольный уж тем, что могу хоть на этот вопрос отвечать словоизъяснением, а не одним почесыванием в затылке, — но не могу сказать, что знаю.

— Гм! — Ну, так слушайте. — Илья Никитич начал рассказывать, все поглядывая на меня с злобным торжеством. Оно и точно, следовало и торжествовать, и злиться. С первых слов письма Андрей Федорыч разинул

рот, дочитал до слов: «Серафима Антоновна и я, мы любим друг друга», дрожа от гнева, дочитал письмо, покраснел от гнева, как зверь вбежал к жене, — та сидела перед зеркалом, собиралась куда-то на вечер. — Пошла вон! — закричал Андрей Федорыч горничной и зашагал по комнате, как тигр. Горничная бежала в испуге. — «У вас амурсы, изменяете своим обязанностям, я вас проучу, сударыня», — сказал Андрей Федорыч задыхающимся голосом, когда остался один с женою. Серафима Антоновна немного поблдедела, но тотчас же собралась с духом и гордо сказала: «Андре, что такое! я ничего не понимаю. Вы с ума сошли». — Да, я схожу с ума, только от вашего безумия, сударыня. [Вы], сударыня, собираетесь бежать с любовником.

Он бросил ей на туалет письмо. Серафима Антоновна взглянула — рука Бориса Константиновича, от смущения она могла различать только бессвязные слова, — но нет, это письмо не к ней, а к мужу, не перехвачено мужем, оно к нему писано, «Вы, Андрей Федорыч», — она еще более смутилась.

— Или не можете понять, сударыня? А вам-то должно быть ясно, — он извещает меня, сударыня, что вы в связи с ним и собираетесь завтра бежать, — верно затем, чтоб я снабдил вас деньгами на дорогу.

Серафима Антоновна помертвела, зарыдала и бросилась к ногам. — «Андре, пощади меня, я невинна, клянусь тебе, он оклеветал меня!»

— Как оклеветал? Что вы врете?

— Андре, клянусь! Он низкий человек, он клеветник, Андре! Защити меня от него!

— Врете вы, сударыня! какая тут клевета, у вас с ним была связь!

— Не было, Андре, клянусь!

— Как же не было? С чего же он взял?

— Не было, Андре, я не знаю, с чего он взял.

— Да с чего же нибудь взял? Было же что-нибудь? Признавайся! Что у вас с ним было?

— Ничего, Андре; мы говорили.

— Говорили? только говорили? Врете, сударыня!

— Нет, Андре, только говорили, — и он писал мне письма.

— Письма? Где они? Подай их сюда!

Серафима Антоновна встала с колен, — но дрожала, бедная, не могла пройти через комнату, опустилась на диван. — Андре, я не могу идти. Они в той шкатулке, дай ее мне.

Андрей Федорыч подал шкатулку.

Серафима Антоновна кое-как отперла ее, при помощи мужа.

— Вот они, Андре, возьми.

— Все тут? Не утаила?

— Нет, Андре, все тут.

Андрей Федорыч порылся в шкатулке.

— А еще нигде не спрячено?

— Нет, Андре.

— Извольте сидеть в этой комнате, сударыня, никуда ни шагу, слышите! И не смей звать ни Парашу, никого. Сиди одна, покуда я прочту их.

Он оставил жену, белую как полотно, истерически рыдающую, готовую не на шутку упасть в обморок, и ушел в кабинет с кипкою писем. Он и сам дрожал.

Мрачный, как Аббадонна, он принялся читать их.

«Мы вчера много говорили с вами, Серафима Антоновна, но я не все договорил и потому пишу вам. Вы не давали мне этого позволения, но к чему мне ждать его? Мы понимаем друг друга. Итак, жизнь человека должна быть служением идее. Блажен, кто живет для того, чтоб служить ей. Но что такое идея? Это трудно определить. Прогресс, — стремление к возведению человека в человеческий сан, — социализм — это понятия более определенные, но именно потому, что более определенные, обхватыва-

вающие только некоторые стороны идеи, — ее проявления, — но теперь еще не представляющие собою сущность ее, саму ее. Идея — это живое соединение всех сил вселенной в космосе, в стройном порядке, в гармонии. Идея есть стремление вселенной от хаоса к космосу. Сам человек есть результат идеи, стремления сил вселенной к созданию космоса из хаоса...»

— Чорт знает, какая глупость! — подумал Андрей Федорыч: — положим, я еще в состоянии понимать, ну, а Серафима что тут может понять? Как она это читала? Сумасшествие!

Он продолжал читать, брови его хмурились попрежнему, но рот искривлялся уж не так, как раньше, судорожные движения губ постепенно сменялись медленными переходами в презрительные улыбки. — Он читал, читал, — вот уж третье или четвертое письмо —

«...эти чувства в значительной степени искусственны, — я не хочу сказать, что они неестественны или поддельны, — но они получают настоящую свою форму от настоящего характера нации, который нельзя же признавать вечным. У спартанцев некрасивые или слабые дети выбрасывались — припомните прекрасный миф об Эдипе — его родители велели выбросить этого новорожденного младенца. Раджпуты (в северозападной Индии, на юг от пустыни низовьев Инда) до недавнего времени убивали новорожденных дочерей. Если хотите, в этом зверском обычая можно найти предчувствие истины. Не подумайте, что я защищаю его, — нет, рождающееся существо уж одарено чувством, смерть для него уж страдание, — я хочу сказать вовсе не то. Но avortement — в самое первое время беременности...»

Экий мерзавец! Какие гадости пишет! о беременности, — Мальтус — выкидыш — ...медики врут, не вредно для здоровья — и все с подробностями, точно в руководстве к акушерскому искусству — какие сальности! экий мерзавец! Но все это пока это глупости, больше ничего, — чорт знает, да что ж она читала-то тут <в повивальные бабки, что ли, собиралась?>. Ну, вот разве это:

«...Я совершенно не могу согласиться с вашим мнением, что любовь непременно предполагает верность в пошлом смысле слова. Почему не признавать возможности минутного увлечения, после которого человек возвращается к постоянному предмету своей привязанности с чувством не только не ослабевшим, — напротив, освежившимся? Противное мнение — предубеждение. Должно признавать человеческую натуру, как она есть. В ней два стремления, из сочетания которых возникает жизнь: желание сохранить, сила привычки, потребность неизменности, и противоположное стремление — искать нового, бросать привычное, потребность перемены, — всякая жизнь есть поляризация — магнетизм, электричество — всюду вы видите раздвоение силы, устремляющейся по противоположным направлениям, и из сочетания этих направлений возникает энергия явлений, — без поляризации не было бы...»

Андрей Федорыч <наконец> увидел, что напрасно читать все это сплошь, стал пробегать глазами мелко исписанные страницы с пятой строки на десятую, стал хватать глазами через целые полустраницы, — везде все то же, все то же, о чем толкует Борис Константинович у него в кабинете с учеными и литераторами — <Мальтус> будущность человечества, <назначение> борьба против предубеждений, подведение всего под какой-то закон поляризации, — и никакого признака ни rendez-vous, ничего похожего на связь, о любви говорится очень много, но все рассуждения, как об ученом предмете, будто параграфы из восторженной психологии, все эти рассуждения пересыпаны словами: «вы понимаете меня, я понимаю вас, ваша возвышенная душа должна чувствовать эту истину, ваша благородная натура инстинктивно влечет вас к этому воззрению». Вот, наконец, и последнее письмо, сочиненное не дальше, как три дня, — и в нем нет ничего кроме рассуждений. Андрей Федорыч не мог не успокоиться. Брови его давно раздвинулись, <Вот олух-то! подумал он: а еще называется умным человеком!> и на лице была презрительная, веселая улыбка. <Он сложил письма.> Ну, отправившись опять к жене для окончательного объяснения,

он опять принял суровый вид. Когда он отворил дверь спальни, его обдало запахом гофманских капель и всяких специй, — у бедной Серафимы Антоновны действительно сильно разболелась голова от рыданий и страха. Андрею Федорычу стало даже жаль ее, но [он] постарался выдержать суровый вид и сказал строгим голосом:

— Видишь, Серафима, к чему ведут эти глупости. Голова разболелась, завтра, пожалуй, будешь больна, — и все от своих глупостей.

— Нет, Андре, я буду здорова. Только прости меня. Я невинна, Андре. Он низкий человек, он клеветник.

— Я это вижу, Серафима. Но зачем же ты подавала повод к этому? Ты все-таки держала себя неосторожно. Рассказывай все, что у вас было.

— Ничего, Андре. Он только говорил, я слушала.

— А сама ты писала ему?

— Нет, Андре, что мне было отвечать на такие письма.

— Правда, ты в них и третьей доли не поняла, я думаю. Так не писала?

— Нет, Андре.

— Ну, хорошо, успокойся, я прощаю, только вперед ты будь осторожнее. Теперь успокойся. <Завтра поговорим. Тогда пройдет твоя голова, тогда ты мне расскажешь всю эту глупость.

Часа через три, четыре, голова Серафимы Антоновны поправилась, и началось длинное, довольно мирное объяснение, после которого Андрей Федорыч сказал, что через несколько минут возвратится и чтоб она не беспокоилась ни о чем, что он сам покончит завтра с Борисом Константиновичем, — пошел в кабинет, написал короткую записку, отдал слуге с приказанием отнести ее завтра пораньше к Борису Константиновичу Сырневу, — и пошел снова в спальню, где уж совершенно восстановились теперь благополучные супружеские отношения.

<Рано поутру Б. К. получил записку: «М. Г. Б. К., назначая мне свидание в 12 часов, вы забыли, что я человек, состоящий на службе.» Андрей Федорыч стал помогать служанке ухаживать за женою, а Серафима Антоновна понемногу успокоилась, оправилась, — тогда начались подробные уже мирные объяснения, и ко времени сна грядущего уже восстановились благополучнейшие супружеские отношения.

Борис Константиныч, неизменно точный в соблюдении назначенного времени, явился, как писал, около 12 часов. Слуга попросил его пройти к Андрею Федорычу. Андрей Федорыч вежливо и церемонно встал при появлении ожидаемого гостя.

— Очень благодарен вам, Борис Константинович, — начал он официальным тоном, — за вашу готовность утешить и подкрепить меня в моем несчастье. Но прежде всего позвольте мне спросить вас, какое право имели вы писать мужу клеветы на его жену, и сообразны ли такие поступки с правилами благородства?

Борис Константинович, входивший с намерением заключить несчастного в свои объятия и излиться в ободрениях, остолбенел от удивления.

— Прошу вас садиться, Борис Константинович, это будет удобнее, чтоб выслушать мои замечания, потому что они будут довольно длинные. Понимали ли вы, что вы делали, когда писали мне ваше безрассудное письмо? <Борис Константинович сначала слушал, безмолвствуя от удивления, — но — о каком безрассудстве вы говорите? какая клевета? Я поступил с вами честно.> Как могло вам прийти в голову обращаться ко мне с такими словами о моей жене, которая не для меня одного, так хорошо знающего ее благородство, но и для всех сколько-нибудь знающих ее, выше всяких подозрений? Если б я не знал, что вы — только безумец, я не знал бы, какое имя дать подобному поступку...

Но Борис Константинович уже оправился от первого изумления, быстро подвел неожиданную встречу под свой взгляд, понял, что ошибся в благородстве Андрея Федорыча: Андрей Федорыч, хоть и вторил ему во

всем, но только из желания казаться передовым человеком, а на самом деле человек пошлый, прозаический: он поступает как обыкновенный домашний деспот: запер жену, может быть истиранил ее — и говорит, что она не любит его, Бориса Константиновича. Обязанность Бориса Константиновича — защитить ее от тиранства, возвратить ей свободу и дать ей обещанное счастье взаимной любви. В его мыслях уже мелькнул весь процесс, нужный для достижения этой цели при неожиданно оказавшейся пошлой тиранической хитрости мужа. Андрей Федорыч говорит: «Вы не увидите ее», он отвечает: «увиджу», встает и идет в ее комнату. Андрей Федорыч становится в двери кабинета и говорит: «вы перешагнете порог через мой труп». — «Если необходимо, я готов». — Они едут за город, — один пистолет заряжен, другой — нет, бросают жребий, стрелять в упор, — кому достался пистолет с пулею? Это любопытно, но решится через пять секунд. Или не лучше ли вместо того, чтоб стрелять в противника, бросить жребий, кому застрелиться? В таком случае только один пистолет. Или еще лучше два стакана чаю, один с ядом, другой без яду. — «Дуэль — пошлая вещь, глупое варварство — думал Борис Константинович — но когда глупые варвары принуждают, нельзя иначе». Если пуля или яд уносят его, тогда она принимает яд, — что ж такого, за несколько мгновений счастья недорого заплатить жизнью. Если падает бездыханным Андрей Федорыч, что тогда? <Они садятся на корабль (тогда еще не было железной дороги от нас на запад) — Балтийское море, волны ревут, морская болезнь с ними обоими — фи, какая гадость, но это никак не дольше трех суток, через трое суток они в Штеттине или в Любеке. Или зачем же это? ведь каждый перед роковым жребием приготовит записку, в которой говорит: «я сам причина своей смерти», убийцы нет.> Он говорит ей: «это было жестоко, но жестоко с его стороны, — не мы с тобою требовали этого. Он погиб жертвою собственного предубеждения, — как благородный варвар, но варвар. Почтим то, что он <показал твердость духа> умер, забудем то, что он хотел помешать нашему счастью». Что скажет она? Это любопытно. Станет ли она выше предубеждений? Или придет в отчаяние, будет стонать, что она убийца мужа, что их любовь преступна? Вероятно так, первое впечатление будет ужасно, но она оправится, она одумается, он успокоит ее, она станет выше пустых сомнений, — при ее уме и возвышенности характера нельзя ж долго оставаться в заблуждении, что она тут чем-нибудь виновата.

Вот сколько картин и соображений пронеслось в мыслях Бориса Константиновича, пока Андрей Федорыч только еще начинал предисловие своей карательной речи. Борис Константинович спокойно поднял на него глаза и твердым, по обыкновению тихим голосом сказал:

— Вы хотите сказать, Андрей Федорыч, что Серафима Антоновна не имеет того намерения, о котором я говорил в своем письме к вам? Вы позволите мне заметить, что в этом случае только собственные ее слова могут иметь убедительность для меня.

Андрей Федорыч холодно и горько улыбнулся.

— Вам угодно личное объяснение с моею женою? Я надеялся, что в вас достанет деликатности пощадить ее от этого.

— Я сказал свое мнение и остаюсь при нем. Я должен видеть ее.

— Вам этого непременно хочется?

— Да.

Андрей Федорыч пожал плечами и позвонил. Вошел слуга.

— Доложи Серафиме Антоновне, что Борис Константинович желает видеть ее и что я просил бы ее принять его. Ты не переврешь?

Слуга повторил слова.

— Так. Борис Константинович желает видеть ее, и я просил бы ее принять его, если может, так.

Слуга ушел. Несчастный муж и счастливый любовник молчали. Борис Константинович был холоден и спокоен. Андрей Федорыч пожимал плечами и морщился.

— Серафима Антоновна просит извинения. Они не могут принять, — сказал слуга и вышел.

— Вы видите. Вы должны согласиться, что она права, уклоняясь от встречи с человеком, который так оскорбил ее и меня в ее лице.

Но теперь Борис Константинович улыбнулся с горьким презрением и посмотрел на Андрея Федорыча. Это уж слишком понятно — заговор с слугою — или она таки заперта и истерзана.

— Я должен видеть ее, — сказал он еще спокойнее и тверже прежнего.

— Вам не жаль так мучить женщину? — сказал Андрей Федорыч. — Вы называете себя благородным человеком?

Борис Константинович не удостоил его ответом, он только снова взглянул на него, но в глазах был слишком ясный ответ: «Я должен увидеть ее, и ты не можешь помешать мне в этом. Я раздавлю тебя, гадкий червяк». Андрей Федорыч вздохнул.

— Извольте. Как ни глубоко я сознаю, что ваше требование несообразно ни с чем, но я пойду сам настаивать на том, чтоб она исполнила его. Но, Борис Константинович, поймите же, до какой степени дурно требовать, чтоб муж просил жену о том, что и по его и [по] ее мнению унижительно для нее. Вы не верите моей чести, — я принужден дать вам <доказательство, что я не турок, не ревнивец> улику, что если кто-нибудь из нас двоих здесь играет бесчестную роль, то не я. Имейте терпения подождать моего возвращения.

Андрей Федорыч ушел и не возвращался довольно долго.

«Какие пошлые уловки! Нет, с ним не будет дуэли, кроме как на тех условиях, которые одни могут быть приняты мною. — Такой человек способен стать лицом к лицу со смертью. Презренный человек! И она, бедная, столько времени должна была разделять с ним жизнь!»

Андрей Федорыч возвратился мрачный.

— Ваше желание будет исполнено, — сухо и спокойно сказал он. — Моя жена придет сказать, когда будет в состоянии принять вас.

Борис Константинович поклонился. Они сидели молча, Борис Константинович неподвижно и спокойно, Андрей Федорыч <с досадою перебирая пальцами петли жилета> с гримасою и легкими машинальными жестами злости.

— Серафима Антоновна просят пожаловать, — сказал слуга.

Оба встали.

— В гостиную, — сказал Андрей Федорыч с пренебрежением, пропуская Бориса Константиновича на один шаг вперед.

Серафима Антоновна, бледная как полотно, с сверкающими глазами, стояла [опираясь] на высокую спинку кресел. Едва Борис Константинович показался в дверях, она сделала рукою знак, говоривший — «остановитесь».

— Вы желали меня видеть, — произнесла [она] резко и громко, — чтоб удостовериться, что я не зашита в мешок и не брошена в море. Вы видите, нет.

Она слегка наклонила голову и показала рукою на дверь.

— Так, так, узнаю в этом тебя, Борис! Из того, что женщина, — которая даже и не кокетничала с тобою, по любопытству или просто по обязанности хозяйки быть любезною слушала твои диссертации, ты заключил, что она влюблена в тебя! Из того, что она влюблена в тебя, ты заключил, что она готова всем пожертвовать для тебя, потерять место в обществе, променять порядочную обстановку на бедность! Ты сумасшедший! Но мало того, что ты сумасшедший — ты слепой! Как же ты смотрел на нее и не видел, что она совершенно под парю своему мужу? Как же ты не заметил, что она женщина тщеславная, дюжинная женщина, которой нет никакого дела до твоих восторженных идей, которая думает о шляках, платьях, успехе в обществе, а вовсе не о благе человечества, о котором убиваешься ты?

Илья Никитич начал подробно изображать Серафиму Антоновну, уличать Бориса Константиновича, что он должен был понять ее, не мог не понять. Борис Константинович молчал.

— Посмотри же ты, какую пошлую роль разыграл ты в этом деле! — продолжал Илья Никитич: — ты считаешь себя человеком и умным, и благородным, а как смешон, глуп, пошел был ты в этой сцене с Андреем Федорычем, которого ты презираешь. — Илья Никитич разобрал по косточкам всю сцену: — В какое унижительное положение ты поставил себя! Стыдно, Борис, стыдно! Вот, — а вы все защищаете, — обратился он ко мне.

Я молчал. В самом деле, что было отвечать? Будь я на месте Ильи Никитича, я б говорил то же самое.

— Но я рад этому, — заключил Илья Никитич: — это послужит тебе хорошим уроком; надеюсь, что ты хоть несколько исправишься.

— Ты кончил, Илья Никитич? — сказал Борис Константинович: — из твоего раздражения я вижу, что ты любишь меня, и очень признателен тебе за это. Но стыдиться мне нечего, и исправляться не в чем.

— Как? — вскрикнул Илья Никитич, — и опять полились обличения и пристыживания Бориса Константиновича. Борис Константинович слушал, холодно попрежнему, но, наконец, видно стало, что он начал терять терпение. Он стал потирать руки, потом поднялся, стал ходить по комнате и вдруг остановился перед Ильею Никитичем и твердым, несколько суровым взглядом довольно долго смотрел на него.

— Не довольно ли, Илья Никитич? Я дал тебе довольно времени высказаться. Довольно, — начал он тихо, спокойно, по своему обыкновению: — теперь позволю и мне сказать несколько слов. Я ошибся. Никогда не ошибается лишь тот, кто ни к чему не стремится, ничего не делает. Смеяться легко, порицать легко, но не всегда позволительно. Я поступил честно, и мне раскаиваться не в чем. Если ты не хочешь понять этого, то мы с тобою не понимаем друг друга, и нам бесполезно продолжать разговор о предмете, в котором мы не понимаем друг друга.

Илья Никитич пожал плечами.

— Ты неисправим, Борис.

— Надеюсь, неисправим, как ты говоришь; неизменно верен своим правилам, как я говорю.

Когда я услышал всю эту историю от Ильи Никитича, когда услышал заключительные слова Бориса Константиновича, я точно так же задумался, как и он. Мы толковали, толковали и остались все при том же, что было ясно без всяких размышлений и рассуждений: хорошо, что эта история кончилась так благополучно. Но Борис Константинович такой человек, что надобно ждать когда-нибудь новой истории, не всегда же счастье будет так милостиво, что эти фантазии будут лопаться без беды для него и для той женщины, которой он захочет давать роль в них.

II

ЛИЗАБЕТА АНТОНОВНА ДЯТЛОВА

«Борис Константинович, устроив свою судьбу, принимается устраивать»

Дней через пять, шесть после этой катастрофы Борис Константинович зашел ко мне. Я ожидал увидеть его хоть несколько расстроенным, сконфуженным или грустным, — нисколько. Он был в обыкновенном расположении духа, или даже лучше обыкновенного. Что за диво? ведь все же человек, а не камень, хоть и философ, твердый в своих принципах. Загадка эта не долго оставалась неразрешенной. Борис Константинович понял какую-то мою шутку, просто неудачную и не умеющую заключать в себе не только никакого намека, даже никакого смысла, за намек на его историю с Серафимой Анто-

новной, за приступ к чтению <по праву в духе Ильи Никитича> ему навиданий, улыбнулся и пошел прямо на приступ, по своему обыкновению:

— Вероятно, вы слышали об истории, которая на-днях произошла со мною?

— Слышал.

— Ну, и что же вы скажете о ней?

— Стоит ли об этом говорить, Борис Константинович, — отвечал я с своею привычною уклончивостью.

— Это значит, что если б вы должны были высказать свое мнение, оно было бы тоже против меня?

— Зачем вы непременно допытываетесь его? Теперь, когда дело кончено, бесполезно рассуждать о нем.

— Итак, вы согласны с Ильею Никитичем, что я пристыдил, унизил себя этою ошибкою? К счастью, не все так думают, и за страдание, которому подвергла меня ошибка в характере одной женщины, я вполне вознагражден сочувствием другой, которая вполне поняла меня. Сказав эти слова тоном отчасти торжественным, он остановился, несколько времени молчал, сказал с тихим пафосом «да, я вполне вознагражден» и уж окончательно замолчал. Я, увидевши, что предмет истощен, заговорил опять о том деле, по которому мы виделись.

Ясно: опять влюбился, опять нашел женщину с возвышенными стремлениями, опять разложил огонь, чтоб заварить кашу. Надобно только желать, чтоб не слишком сильно обожгли себе губы ею он и та, которую приглашает он вкушать эту кашу.

Месяца через два, три я, зашедши однажды поутру к нему, нашел у него гостью, молодую девушку. «Дело житейское, обыкновенное для всякого другого, Борис Константинович, но не для вас», — подумал я: — «что ж это такое? нашли сочувствующее вам существо с возвышенною душою, симпатия которого вполне вознаградила вас за страдания от вашего нелепого фарса с Серафимой Антоновной, а между тем приглашаете к себе гостью! Так не следовало бы делать человеку с вашими принципами», — подумал я. Девушка при моем появлении встала, взяла шляпку и хотела надеть ее, собираясь уйти.

— Зачем же, кузина, — сказал Борис Константинович, — он не помещает и, вероятно, не будет сидеть долго, — он заходит не надолго, только по делам. Оставайтесь и позвольте вам представить моего хорошего знакомого, — он назвал мою фамилию.

Девушка положила шляпку, подала мне руку и села.

— Так вот, это родственница, и я совершенно напрасно подсмеялся в мыслях над вами, Борис Константинович. <Ну, если родственница, то вещь очень обыкновенная, и для вас тут нет ничего предосудительного, как не было бы для всякого другого.> — И в самом деле, когда я хорошенько взглянул на девушку, на которую раньше не обращал внимания, то увидел, что мое первое предположение могло родиться только при моей привычке не смотреть без крайней надобности ни на кого из тех, кого я вижу.

Гостья Бориса Константиновича была скромная девушка порядочного общества. Я мысленно извинился перед нею в <обиде> оскорблении, которое мысленно нанес ей, переговорил с Борисом Константиновичем о деле, по которому зашел к нему, ушел и забыл о встрече, которая при родстве гостий с Борисом Константиновичем не представляла ничего особенного.

Забыл, но не надолго: Борис Константинович заставил меня вспомнить о ней и призадуматься о ее судьбе. Зашедши ко мне через несколько дней, он спросил меня, как мне понравилась его кузина. Я сказал, что, вероятно, она неглупая и хорошая девушка, насколько я могу судить по нескольким словам, которыми обменялся с нею. Ободренный моим благоприятным отзывом, он начал хвалить ее с горячностью, которой я не привык видеть в нем.

Кузина — но это несколько не мешает быть влюбленным. Уж не она ли то существо с возвышенными стремлениями, которое своею симпатиею

вознаградило его за унижительное разочарование в Серафиме Антоновне? На этот раз я не ошибся.

Лизавета Антоновна Дятлова была младшая сестра Серафимы Антоновны. Антон Владимирович Дятлов служил чем-то вроде эконома, казначея или смотрителя в каком-то ведомстве и, заведя постройками, поправками или чем-то вроде этого, имел при небольшом чине — коллежского советника — и невысоком классе своей должности по штатному расписанию порядочный доход, так что жил довольно открыто и, кроме того, успел купить в Коломне дом, стоивший тысяч 60 или более. Конечно, такое спокойное и хорошее место он мог получить и сохранять только при благосклонности своего непосредственного довольно важного начальника, с которым был в тесных сношениях по разным отчасти частным, отчасти и не частным делам; а из этого само собою следует, что он пользовался уважением в кругу и таких сослуживцев, которые были много выше его чинами. По вторникам, которые завелись у него лет семь тому назад, когда Серафима Антоновна стала невестой <и с той поры продолжались и которые после продолжались сначала только по возможности продолжать их, достаточности средств продолжать их без отягощения себе, а потом и потому, что подросла другая и с той у него играли в карты за тремя и четырьмя столами, и за одним из этих столов все четверо партнеров были всегда генералы. Уж и один этот стол заставлял бы Александру Захарьевну не обременяться расходами на закуски и вино, требующиеся вторниками, но вторники, конечно, доставляли ей и еще более почетное удовольствие, потому что вместе с генералами бывали на вторниках и генеральши, и она бывала у генеральши, как равная гостья. Само собою, и генералы были из тех, которые достигли этого титула только по получении знака отличия за XXX лет и с одной стороны не имели состояния, и если гордились, то и тяготились хлопотать о каких-нибудь местах в провинции, потому что, не имея связей, не могли добраться до хороших дней, которым было бы гораздо спокойнее оставаться статскими советниками и которые сами скорее нуждались в покровительстве Антона Владимировича перед начальством, чем могли считать себя его покровителями, а генеральши не имели ни лошадей, ни поваров, ни сервизов и не могли подавать своим гостям даже таких закусок, какие бывали у Дятловых>, у него собиралось многочисленное общество записных, коренных чиновников из его сослуживцев; бывали и молодые люди в то время, когда Серафима Антоновна была невестой и слыла очень хорошенькою; стали бывать снова, когда стала невестой Лизавета Антоновна, которая хоть и не слыла очень хорошенькою, но имела такое достоинство, как и ее сестра — в приданое за нею назначалось двадцать тысяч. Притом же сыновей у Дятлова не было, дочери были только две, стало быть, за Лизаветою Антоновною надобно было считать право на наследство вдвое, втрое больше приданого.

Человек не блистательный, Антон Владимирович был, как видим, человек практический, другого ничего замечательного не было в нем, разве только глаза, поражавшие необыкновенною своею круглотою и неподвижностью, да выражение лица, удивлявшее своею неподвижностью, — если можно назвать выражением лица полное отсутствие всякого выражения. Он смотрел, говорил совершенно как автомат и производил впечатление человека очень глупого, — и точно, был не бог знает какого ума; но тупая неподвижность выражения происходила не от глупости, как вам казалось по взгляду на него, — нет, люди даже еще менее далекие все-таки имеют в лице что-нибудь живое. Его неподвижность у Антона Владимировича была результатом его прежней службы в очень малом чине в постоянном очень близком присутствии очень важного начальника. Целое утро Антон Владимирович стоял перед ним на вытяжку, ожидал приказаний, шел, передавал приказание кучеру или повару, камердинеру или швейцару, и через пять минут опять был перед ним и стоял на вытяжку, устремив на него глаза в неподвижном ожидании нового приказания, — простоял таким образом лет пятнадцать, от 20 до 35, в награду получил место, которое теперь занимал, и навсегда сохранил сформировавшееся в стоянке приличное ей сложение черт

лица. Я даже подумывал, не покраснели ли глаза его от этого. Но люди, занимающиеся естественными науками, уверили меня <что узкий или круглый прорез глаз — дело природы, бывает уже прирожденным, дается от>, что это невозможно.

Если начальник был доволен Антоном Владимировичем, то еще гораздо довольнее им была его жена. Софья Федоровна была хозяйка неумолимая и потому находившая бесчисленные неверности и неисправности за прислугою. Целое утро она бранилась с кухаркою, — бранилась, потому что кухарки вообще умели сами огрызаться, как женщины уж не молодые и понатерпевшиеся в житейском искусстве, и бранила горничную, — бранила, потому что горничные чаще попадаютя неумеющие по молодости огрызаться. Это было занятие полезное и приятное; но само собою, оно не давало б и половины надлежащего интереса жизни Софьи Федоровны, если б за бранью поутру не следовал пересказ брани с жалобами и требованиями посильных взысканий. Вот в этом отношении Антон Владимирович был образцовым мужем. Он, не моргая и не двигаясь, слушал излияния чувств Софьи Федоровны несколько часов, сколько угодно было ее душе; потому жалобы начинались с самого обеда, как он возвращался из должности, продолжались до самых молитв на сон грядущий. Софья Федоровна тараторила, Антон Владимирович сидел как истукан, уставив на нее круглые глаза, и можно сказать, что мало на свете таких счастливых жен, как Софья Федоровна.

Но не каждый же вечер проходил только в этом. Как бы ни был муж достоин любви жены, все-таки надоест же вечно говорить все только с мужем и с мужем. Гости по вторникам, гости более или менее парадные — они были удовлетворительны для общественного честолюбия Антона Владимировича и Софьи Федоровны, но для жизни души и сердца нужны были отношения более теплые, и она отогревала душу в разговорах с несколькими приятельницами, которые вполне разделяли ее чувства и делились с нею своими такими чувствами. Прислуга составляла важную матерю и в этих разговорах, но не была ни единственным, ни даже главным предметом их, — главным предметом была, разумеется, современная история в форме монографических и биографических исследований о всех знакомых, в лицо ли, по наслышке ли, лицах обоего пола от X до III класса чинов военного и гражданского звания. Это черта характера. Как жена и приятельница, Софья Федоровна была счастлива; была счастлива и как хозяйка, потому что брань с кухаркою и на горничную была таким же наслаждением, как жалобы мужу и сплетни с приятельницами; но нет человека, безусловно счастливого, и Софья Федоровна имела свою долю огорчений в жизни как мать.

Старшая дочь Ссрафима Антоновна — только радовала ее и когда была девушкою: хороша собою, держит себя как следует невесте, теперь держит себя как следует даме; но младшая дочь, Лиза, не удалась.

До недавнего времени Софья Федоровна огорчалась только тем, что Лиза и не в сестру лицом: нет ни румянца в щеках, ни блеска в глазах, ни роскошной груди, ни полных плеч, ничего привлекательного для женихов. И точно, опасения Софьи Федоровны сбылись, когда по выдаче старшей сестры замуж Лизавете Антоновне пришла очередь быть невестою: она не производила никакого эффекта ни на своих вторниках, ни на каких других вечерах. Самые ревностные обожатели блондинок не могли сказать в похвалу Лизавете Антоновне ничего, кроме: «у нее довольно приятное лицо, хоть правда, что она не из числа хорошеньких». Но это бы еще ничего: приданое есть, стало быть не засидится в девках; не составит такой хорошей партии, как старшая сестра, которая скоро будет генералшею, но все-таки найдется и для нее хорошая партия. Действительно, сваталась довольно хорошие женихи, появился даже и очень хороший, какого нельзя было надеяться по ее некрасивому лицу: правитель канцелярии, молодой человек, на самом лучшем счету у начальства. За другими женихами Софья Федоровна не так гналась, но когда стал показываться на ее вторниках Соболев, она с самого же начала принимала его с величайшею внимательностью. Соболев

уж давно, с полгода, был постоянным гостем по вторникам у Дятловых, нередко бывал гостем их и по другим дням.

Он нимало не скрывал своего намерения, но торопиться было не к чему, и месяц за месяцем, прошло, наконец, месяцев шесть после начала посещения. Лизавета Антоновна, очень хорошо знавшая, что он бывает у них с мыслью сватать ее, сначала была ласкова с ним, как будто не имела ничего против того, чтоб выйти за него, но потом стала делаться холодна, холоднее и холоднее, — мать еще не замечала этой перемены, но он заметил и стал бывать реже; тогда заметила и мать, стала делать выговоры Лизавете Антоновне. Лизавета Антоновна молча выслушивала выговоры, но не исправлялась. Соболев посмотрел, посмотрел, вовсе перестал бывать, и месяца через два до Софьи Федоровны дошел слух, что он думает сватать другую невесту. Много бранила она дочь за это пренебрежение к такому хорошему жениху, но думала, что беда еще не велика, найдется другой жених, и не хуже. Они находились, но Лизавета Антоновна с каждым месяцем становилась холоднее к молодым людям, показывавшимся в их доме с мыслью сватать ее, и один молодой человек за другим отходили прочь от неприветливой девушки, видя, что не могли бы ждать от нее ничего, кроме отказа. Это продолжалось уже года три, и Софья Федоровна постепенно дошла до полного отчаяния видеть младшую дочь замужем. Она и побранивала дочь, и ласково объясняла ей, что нельзя так держать себя; но ни бранью, ни лаской, ни убеждениями, что плохо оставаться в девушках, не могла вложить в нее приветливости ни к одному из желающих сватать ее. Думала Софья Федоровна, не забилась ли в голову дочери какая-нибудь любовь, смотрела, — нет; и если б она любила кого-нибудь из тех, кого видела, не было б ей причины таиться от матери, потому что все молодые люди, с которыми она часто виделась, были хорошие молодые люди, более или менее годные в женихи. Пробовала мать попытаться у нее, что за причина такой странности, что она, молодая девушка, не чувствует ни к кому расположения, Лизавета Антоновна отвечала: «что ж мне делать, маменька, если никто из них мне не нравится?» — но почему не нравится — не могла понять Софья Федоровна, и странная холодность дочери так и оставалась для нее загадкой. Ей не приходило и в голову, что всему делу причина Борис Константинович.

Лизавета Антоновна очень часто бывала у сестры; Борис Константинович бывал там уж и в то время нередко. Он не обращал большого внимания и на Лизавету Антоновну, как не обращал большого [внимания] ни на саму хозяйку, ни на кого из бывавших у нее дам и девиц; но все-таки он проводил в женском кругу большую часть каждого вечера, когда бывал у Чекамовых, и, толкая половину времени о нарядах и модах, половину времени пропагандировал. Он не мог не пропагандировать. Кто его слушатели или слушательницы, интересно ли, приятно ли им слушать его рассуждения, до этого ему не было никакого дела: уста говорили от избытка сердца, и потому не мог молчать. Но вообще женское общество, встречавшее его у Серафимы Антоновны, слушало его с удовольствием: он говорил хорошо, а главное, главным содержанием его тирад была свобода сердца, — а когда женщинам не приятно слушать речи о свободе сердца? а еще важнее этой самой главной причины интереса было то, что слушательницы могли почерпнуть из его рассуждений прекрасные слова, возвышенные мысли, самые новые взгляды, которые потом с пользою служили им в разговорах с другими. Мы уже видели, что Серафима Антоновна года в три, в четыре так научилась владеть этим языком, что ввела в обольщение самого учителя. А другие молодые люди, которые, может быть, из вторых рук, больше по насылке были знакомы с возвышенными взглядами, которые составляли содержание разговоров Бориса Константиновича с дамами, и подавно повергались в благоговение, когда слышали такие речи от дамы или девушки, с которыми начинали любезничать. Многие из посетительниц Серафимы Антоновны были обязаны частью своих побед над сердцами слушанию бесед Бориса Константиновича. Лизавета Антоновна тоже слушала его беседы. Сначала они ка-

зались ей странными, потом начали нравиться и через полгода после замужества сестры, бывшего началом ее знакомства с Борисом Константиновичем, стала искать сближения с ним. Сойтись с таким охотником до бесед с женщинами было не трудно, и скоро они подружились. Борис Константинович стал довольно часто бывать у Дятловых, в доме которых уж давно был принят в звании родственника.

Понятно теперь, отчего произошла в Лизавете Антоновне перемена, огорчившая Софью Федоровну. До сближения с Борисом Константиновичем Лизавете Антоновне казалось, что все так и должно быть, как она видела кругом себя, что и молодые люди, которых она видела, — такие молодые люди, какими следует быть молодым людям, и что почему ей не принять готовящегося предложить руку, не того, так другого из них? Разговоры с ним постепенно научили ее видеть всех их в другом свете. Большую часть из них он прямо называл ей невеждами, пошляками; несколько времени щадил Соболева, потому что ему было сказано Серафимой Антоновной, что он не ныне — завтра будет объявлен женихом Лизы. Но через несколько времени решил, что молчать перед ней о Соболеве значит поступать бесчестно, значит оставлять девушку в заблуждении, которое может быть губительно для нее, и заговорил и о Соболеве, как о пошляке. Оказалось, что это уж было почти лишнее: Лизавета Антоновна успела сама довольно хорошо разобрат Соболева по принципам своего друга.

— Послушайте, однако, хорошо ли вы делали? — прервал я Бориса Константиновича, выслушав эту часть истории его отношений к Лизавете Антоновне: — вы отнимали у девушки возможность найти себе удовлетворение в том обществе, которое окружало ее, отнимали у нее возможность устроить свою жизнь. Позволительно ли это?

— Если принят ваш принцип, то надобно б отказаться от всяких забот о нравственном или умственном развитии людей, — спокойно отвечал он: — всякое возвышение ведет к недовольству тем, что казалось удовлетворительным до развития.

Я чувствовал тогда и теперь думаю, что он был не совсем прав; но и тогда не нашелся, и теперь не знаю, чем опровергнуть его аргумент. Быть может, он прав в принципе; быть может, нужно только быть мягче в применении принципа. Или, быть может, мы не имеем права показывать истину человеку, находящемуся в таком положении, что нет вероятности, чтоб истина послужила ему в пользу? Это часто думается мне, когда я думаю о женщинах. — «К чему невольнику мечтания свободы?» Когда нет у них возможности быть счастливыми, отвергнув пошлость, пусть остаются в неведении, что это пошлость, — не так ли? Не надобно ли раньше [чем] просвещать их, позаботиться об открытии им возможности пользоваться знанием на счастье себе? Но нет, это аркадская фантазия, опровергаемая историею: никогда никакой класс людей не приобретал лучшего положения от других, — каждый должен сам приобретать с бою; а [чтобы] стремиться к лучшему, завоевать его, нужно раньше узнать его. Так; большая часть женщин, делающихся порядочными, делается порядочными в убыток своему довольству судьбою, часто в погибель своему счастью. Но это только частный случай общего исторического правила: все хорошее настоящее приобретено борьбою и лишениями людей, готовивших его; и лучшее будущее должно готовиться точно так же. Так; но, слушая Бориса Константиновича, я предчувствовал: не добром для Лизаветы Антоновны разыграется его просветительная деятельность.

Софья Федоровна никак не предполагала, что Борис Константинович портит судьбу Лизаветы Антоновны. Женщина совершенно простая, полуграмотная, она даже не знала известной всем фразы: «голова набита романскими мечтами».

Борис Константинович был «брат» Серафимы Антоновны, Лизавета Антоновна — сестра Серафимы Антоновны, он был свой человек, его не занимали как гостя, с ним не сидели, когда было некогда, для него не выносили угощения, он сам брал из буфета кусок булки и отрезывал себе лом-

тик ветчины, когда ему хотелось закусить,—как же тут можно думать о вредном влиянии его на Лизавету Антоновну? Да Софья Федоровна и не знала, что существует «вредное влияние», она знала только, что <мать должна смотреть, чтоб у дочери не завелись любовники, а с братом Серафимы Антоновны какие же шашни?—и что> «развращенные молодые люди» учат девушек не повиноваться отцу-матери,—но «развращенные молодые люди» гуляют по трактирам, пьянствуют, например Баклагин, который был помощником Антона Владимировича, и их выгоняют из службы,—Баклагина не выгнали, потому что Антон Владимирович жалостлив, а генерал добр и слушает Антона Владимировича, а только переместили с штатного места в канцелярские, — итак, развращенных молодых людей выгоняют из службы или перемещают со штатных мест, а Борис Константинович такой молодой человек, какого бог дай всякой матери иметь сыном, потому что «отлично учится» (пока был студентом), теперь готовится к магистерскому экзамену <потом его зовут в профессора, а профессорское место почти что генеральское>, а потом, когда поступил в службу, он на отличном счету у начальства. Потом, когда он вышел в отставку, он много потерял в глазах Софьи Федоровны и Антона Владимировича, но Андрей Федорыч и Серафима Антоновна продолжали отзываться о нем с самой выгодной стороны, стало быть, он все-таки оставался хорошим молодым человеком. Не только не опасались его — Софья Федоровна даже мало думала о нем: у Дятловых он бывал редко, хоть держал себя как свой, когда бывал, у Чекмазовых Софья Федоровна не бывала по вечерам, когда бывали посторонние, потому что какая же она была компания молодому кругу своей дочери, и таким образом видела Бориса Константиновича разве в месяц, в полтора раз, — чего ей было думать о нем? И когда произошла катастрофа, она очень долго не знала, что Борис Константинович перестал бывать у ее дочери, и разве месяца через четыре вздумала: «Что это Борис Константинович давно что-то не заходит к вам?» Спросила у Серафимы, Серафима сказала: «он поссорился с Андреем Федорычем», тем разговор кончился, и Софья Федоровна перестала думать о Борисе Константиновиче.

Но для Лизаветы Антоновны не так незаметна была «катастрофа», постигшая Бориса Константиновича. Через два дня после этого события он получил письмо:

«Добрый Борис Константинович, что такое между вами и сестрою, скажите мне! Когда я вчера приехала к ней и упомянула о вас, она сказала мне, что я не должна больше произносить вашего имени, что ее и вас теперь разделила бездна; говорила, что вы не оправдали ее доверия и расположения к вам, что вы поступили с нею очень дурно, едва не поссорили ее с мужем. Что это значит, Борис Константинович? Но все равно, что бы это ни значило, это убивает меня. Итак, я никогда больше не увижу вас? Я не могла переносить этой мысли. Борис Константинович, неужели я не буду больше видеть вас? Л. Дятлова».

«Почему ж нам не видется, Лизавета Антоновна? Для меня это будет истинным удовольствием. Я всегда был так расположен к вам. Ваша сестра говорит вам правду. Она и я — мы разошлись навсегда. Она думает, что я не оправдал ее доверия. Я нахожу, что было наоборот: она не оправдала моего высокого мнения о ней. Но перемена моего мнения о ней, мой разрыв <с нею и ее мужем> нисколько не изменяют моего мнения о вас. Мой разрыв с нею и ее мужем не влечет за собою, как необходимости, разрыва с вами. Наши прежние отношения могут продолжаться, быть может, стать более тесными, теперь, когда должно быть выброшено — и уже почти выброшено — из моих чувств лицо, стоявшее между вами и мною. Раньше я знал вас только как сестру m-me Чекмазовой, мы были близки только через нее, вы были для меня на втором плане; теперь я буду знать [вас] как мадам Дятлову, мы можем быть непосредственно близки, и вы из второго лица можете стать для меня главным. Что мешает нам продолжать знакомство? Вы свободна и в пошлом смысле европейской цивилизации, применяющей этот термин в особенности к некоторым положениям и к некоторым

людям, как будто не всякий человек во всяком положении свободен, если имеет чувство свободы. Свобода есть природное право, не утрачиваемое человеком ни в каком положении. Но вы свободны не только по закону природы, вы свободны и по закону общества. Что мешает вам продолжать знакомство со мною, если вам это нравится? Я прошу вас об этом. Как продолжать? скажете вы, где видетесь? Я не могу бывать у вас в доме, почему ж вам не бывать у меня? Моя дверь всегда открыта для вас, моя рука всегда протянута вам. — Я отлучаюсь из дому на уроки по понедельникам, средам и пятницам. В остальные дни я до 12 часов всегда дома, и мне будет очень приятно видеть вас у себя. Жму вашу руку. Б. Алферьев».

Письмо Лизаветы Антоновны было получено Борисом Константиновичем по городской почте в среду, ответ его получен ею по городской почте в четверг, в субботу в половине двенадцатого Лизавета Антоновна вошла в комнату Бориса Константиновича и стала бывать у него три, четыре раза в неделю. У Лизаветы Антоновны было много подруг, которых она посещала гораздо чаще, чем они ее, и семейства которых не были знакомы с ее матерью, потому что какая ж дама светского круга могла быть знакома с Софьей Федоровною, и что за приятность была бы Лизавете Антоновне видеть светскую подругу в беседе с Софьей Федоровною и Антоном Владимировичем? дочь конфузилась за них, и самой подруге бывало неловко. Благодаря этому Лизавета Антоновна, отправляясь к своему молодому другу, могла совершенно безопасно говорить матери, что едет к Надине Бороздиной, или Александрине Волковой, или Евдокии Долинской, — таких имен было у нее в запасе шесть или семь, и не только матери, даже сестре не приходило в голову ни тени подозрения об истине.

Сначала она бывала у Бориса Константиновича только по утрам, потом этого стало мало, — почему ж не бывать и по вечерам? это также безопасно, потому что не все ли равно, утро или вечер просидит она у Надины Бороздиной, у Александрины Волковой? К утренним беседам с другом стали прибавляться вечерние, потому вечерние показались и ей, и ему гораздо удобнее утренних, — и естественно: утро создано для дела, для отдыха и для развлечения в дружеской беседе — вечер. Сначала Борис Константинович все-таки соблюдал некоторые формальности с Лизаветой Антоновной — собственно только одну формальность: не уходил из дому, когда ждал ее, — потом это показалось стеснительно для нее и для него, — она, уезжая в прошлый раз, сказала: «я буду у вас послезавтра», а вот и не послезавтра, а завтра ей скучно сидеть вечер дома, лучше бы отправиться к Борису, не дома ли он? посмотрим, если нет, то она вернется домой или в самом деле поедет к Евдокии Долинской, — только. И что ж, как удачно: она застала его дома, и он был очень, очень рад. — Когда увидимся снова? — Послезавтра. И опять она соскучилась на завтра ж, поехала к нему. — Дома Борис Константинович? — Нет, — отвечала хозяйка: — да что ж вы идете назад, барышня? вы подождите его, может он скоро придет домой. — И то правда, почему не подождать? разве дома или у Машеньки Воробьевой веселее? Нет, эта комната так уютна, так мила, что лучше посидеть одной на этой кушетке с книгою в руках, — кстати, вот и роман Альфонса Карра, еще не читанный ею, — прекрасно. И в самом деле это вышло прекрасно: почти не видела, как пролетело полтора часа, — роман был занимательный, а еще занимательней его мечты, потому что она скоро замечталась; а в половине девятого Борис возвратился и очень похвалил ее за то, что она подождала его; он вернулся домой было только по дороге, затем, чтоб взять сигар, — он с утра не был дома, и у него уж оставалась только одна сигара — и отправиться к Желтухину, у которого ныне собирается несколько человек, — но с нею ему приятнее, чем с ними, хоть и с ними приятно, он будет очень рад. — Нет, нет, пора, Борис: ведь половина двенадцатого, — ведь это ужасно: половина двенадцатого! я приеду домой не раньше двенадцати! это ужасно! и я чем же ему не быть у Желтухина? к нему еще не поздно, отправляйся, Борис. — Ну, нечего делать, отправлюсь: и точно, для С. Ф. уж поздно, а хоть для Желтухина еще не поздно, и как кстати: ведь мне ехать

к нему почти мимо вас. — Да? Как это хорошо! Она сходит у своего подъезда, он едет к Желтухину. Прекрасно.

И вот однажды Лизавета Антоновна, не заставши дома своего друга, сидела в его комнате, сначала читала, потом задумалась, опять стала читать, и опять задумалась, уж надолго, и так крепко, что вздрогнула, когда вошел Борис Константинович.

— Как я замечталась! — сказала она, и о чем я мечтала, знаешь ли, Борис? (они уж говорили друг другу ты) как здесь мирно, как я здесь спокойна! Не слышу я ничьей брани с прислугою, не вижу никого, кто не нравится мне, никто не ворчит на меня, — не вышла бы отсюда, осталась бы здесь.

— Ты думаешь, Лиза, что это было бы хорошо? Может быть.

Борис Константинович стал ходить по комнате.

— Ты думаешь, Лиза, что лучше бы было тебе остаться здесь? — начал он опять через пять минут: — почему ж это невозможно? Я не вижу тут никакой невозможности.

Рано на другое утро Борис Константинович вошел к Илье Никитичу.

— Достань мне займы 500 рублей.

— Зачем? Расплата очень стеснит тебя. И ты получаешь не мало. Нет причин тебе делать долги. Я не хочу помогать тебе в этом. И ты знаешь, что если я и могу достать денег займы, то не совсем без хлопот, напротив.

— Я знаю, Илья Никитич, что тебе не без хлопот будет исполнить мою просьбу. Напрасно я не стал бы беспокоить тебя. Но есть важная причина. Мне необходимо 500 р., это чрезвычайный случай. Я могу сказать тебе причину, и ты согласишься, что она основательна.

— Послушаем.

— Но прежде всего: — ты часто бываешь у меня?

— Почти никогда.

— Намерен был бывать чаще?

— Может быть, не заглянул бы к тебе целый год.

— Теперь, как честный человек: до моего прихода сюда, ты предполагал, чтоб у меня <в комнате было что-нибудь любопытное?

— Разумеется, нет.

— Итак, если > произошло что-нибудь особенное?

— От тебя можно всего [ждать], но я не думал этого, потому что вообще мало думаю о тебе, у меня есть много о чем думать и кроме тебя.

— Так же, как и у меня по отношению к тебе. Итак, то, что я скажу тебе, ты не узнал бы без меня очень долго, — а я в несколько дней успел бы скрыть от тебя все следы происшедшего, — следовательно, ты никогда не узнал бы этого происшествия, если б не услышал от меня самого!

— Что за предисловия!

— Ты увидишь, что это предисловие ведет к важному заключению. Но прежде всего я хочу знать, логично ли оно?

— Со стороны логики безукоризненно, как все, что ты говоришь. Здравого смысла не вижу в нем, как в очень многом из того, что ты говоришь и особенно делаешь.

— Но логично, этого довольно. Итак, ты не будешь отрицать вывода: если я беру с тебя слово, что ты не будешь разузнавать о том, что произошло у меня, — я хотел сказать: не будешь стараться узнавать об этом больше, чем я открою тебе, ты не проигрываешь, я не отнимаю у тебя средств знать то, что не должно быть тебе известно по моему намерению, потому что без моих слов ты бы не знал и совершенно ничего.

— Так.

— Следовательно, ты можешь дать мне слово, которое я хочу взять с тебя, прежде чем стану говорить тебе?

— Могу, и я даю его тем охотнее, что мне нет никакой радости мешаться в твои дела. Но ты употребляешь такие предосторожности, как

будто хочешь наполовину открыть мне по меньшей мере то, что ты делаешь фальшивые деньги или совершил какое-нибудь самое ужаснейшее, гнуснейшее убийство. К деланию фальшивых денег я считаю тебя не совершенно способным.

— Почему знать? Не ручайся за меня, ты знаешь, у меня свой взгляд на вещи.

— Хорошо, даже если я предположу из твоих слов, что ты делаешь фальшивые деньги, к чему я продолжаю считать тебя неспособным, хоть ты и говоришь, что способен, или совершил убийство, к чему не считаю тебя неспособным, даю слово не разузнавать больше, чем ты скажешь, и молчать.

— Я знаю тебя за честного человека и уверен, что ты сдержишь слово. Итак, я могу сказать тебе. Слушай же.

— Илья Никитич, и вы дали это слово? — прервал я Илью Никитича, когда он рассказывал мне эту сцену дикую, как все сцены, в которых до сих пор являлся его братец и мой добрый знакомый. — Вы дали ему это слово?

— Дал.

— С намерением сдержатъ?

— Вы знаете, я не говорю того, чего не думаю исполнить.

— Однако хорош и вы! Как же можно давать такие слова! Если б еще дело могло идти о фальшивых деньгах или убийстве, тогда вы могли бы сказать: это дело полиции, а не мое, — но ведь он мог делать чорт знает что, во что полиция не может вмешиваться и во что никто не может мешаться, чего никто не может исправить, кроме близких, — как же давать такие слова?

— Вы слушали, что я вам рассказывал, или нет?

— Слушал.

— Ведь он рассуждал правильно: иначе как через него, я не имел перед его приходом никакой вероятности узнать что-нибудь о том, что он говорил, следовательно, он был вправе сообщить мне на каких угодно условиях и только до какой ему угодно степени то, что хотел сообщить. Скажу больше: если б он и не брал с меня слова, я обязан был бы так, как он объяснял меня, держать формальным обещанием.

— Ну, Илья Никитич, недаром и ваша фамилия Алферьев, — сказал я со вздохом, — и у вас в голове сидит гвоздь, хоть поменьше величиною, чем у него, но сидит. Продолжайте.

Илья Никитич посмотрел на меня с состраданием, как на человека, не имеющего понятия о том, что такое правила чести, и продолжал.

Обезопасивши обещанием Ильи Никитича те части жизни, которые должны были оставаться тайной для него, Борис Константинович объяснил ему, что он будет жить вместе с девушкою, которая вчера переселилась к нему; что эта девушка переселилась к нему, не имея ничего, кроме того, в чем вышла из дому; что поэтому нужно немедленно создать ей гардероб, — так выразился Борис Константинович, — то есть купить белья, два-три платья, — к счастью, дело было уже в начале зимы, и на девушке была шуба, а то вместо 500 р. понадобилось бы 800 (как благоразумно! — подумал я, — уж успел и это сообразить и порадоваться, что обошлось без лишнего убытка), притом нужно было переменить квартиру, потому что нельзя же двоим жить в одной комнате, это неудобно для занятий, — а перемена квартиры потребует расходов, потому что надобно будет обзавестись своей мебелью, — из этого видно, что меньше как 500 р. нельзя обойтись.

Но — так начиналась часть истории, о которой не должен был Илья Никитич стараться разузнавать больше, чем ему говорилось, — но эта девушка из семейства, принадлежащего к обществу; ее имя должно оставаться тайной, Илья Никитич не должен видаться с ней.

— Ну, что же вы, — опять прервал я Илью Никитича.

— Что ж можно было отвечать, кроме слов, что я достану деньги, — я сказал это и достал их, как всякий сделал бы на моем месте.

— Всякий! Вы сказали это, вместо того, чтоб убеждать безумца возвратить несчастную девушку в ее дом, — ехать к нему в его квартиру, если б он не согласился, и образумить девушку, если б он не согласился.

— Вы забыли, что я дал слово.

— Слово? Что значит слово?

— Не изменить слову значит сохранить право считаться честным человеком, — больше ничего, — отвечал Илья Никитич.

— Сохранить право на уважение безумцев! Лестное право, приятное, сохранить право на их доверие — заманчивая перспектива!

— Безумцев или нет, это еще вопрос; но безумцы они или нет, они люди, это видно по их фигуре и не подлежит сомнению.

— Я не узнаю вас, Илья Никитич: не вы ли всегда нападали на него, когда я считал возможным оправдывать его, — а теперь помогаете ему в таком деле.

— Я нападаю на то, что еще может быть изменено, а когда дело сделано, поздно рассуждать о том, нравится оно мне, или нет, остается только делать, что нужно и можно при положении, уже данном. Если он и она безумцы, как вы говорите, то я полагаю, что обязанность человека, считающего себя рассудительным, — стараться сохранить их доверие к себе, чтоб не загораживать себе возможности принести им пользу своим благоразумием, когда и насколько представится случай, а не отталкивать их от себя в беспомощность поздним резонерством. Но еще позвольте вас еще спросить, какое право имел я называть их так, — я не знал обстоятельств, характер дела определяется обстоятельствами, — какое право имеете вы называть их безумцами? Может быть, этой девушке ничего не оставалось лучшего и благоразумнейшего, как бежать из семейства, — ведь вы не знаете ничего о ней, что ж суетесь оценивать вещь впотмах? — Илья Никитич сердилась.

— Илья Никитич, это такое страшное дело навеки лишить себя честного имени, что ни в каких обстоятельствах нельзя назвать это иначе, как безумием со стороны девушки.

— Бывают всякие необходимости, — с расстановкою произнес учительским тоном Илья Никитич. — Вам известно, вероятно, из истории, сударь, что бываю такие положения, когда люди справедливо и основательно считают необходимым разрывать не только связи с обществом, в чем еще и не бывает особой беды для разрывающего их существа, но прерывать собственную жизнь, что уж во всяком случае потеря для лица, теряющего жизнь. Так ли, сударь, или вам это неизвестно?

— Что с вами спорить, Илья Никитич, вы сердитесь, лучше продолжайте историю, — сказал я, формулируя в уме глубокомысленную заметку о человеческой натуре. Ведь вот что значит самолюбие: честный человек, а увлекся слабостью к родственнику, дает ему потачку, — Борис Константинович есть Алферьев, следовательно, он прав; и ведь умный человек, а сделал глупость по увлечению горячими словами молодого сумасброда, помог ему, вместо того, чтоб помешать ему, и не может согласиться, что сделал глупость, а возводит свою слабость в принцип. Ох, человеческая натура, человеческая натура!

— Продолжайте, Илья Никитич, — повторил я мягким тоном, видя, что он очень гневно смотрит на меня, с мрачным молчанием карающего судьи, — я не спорю с вами.

— Нечего продолжать. Я достал ему денег в тот же вечер, — поутру на другой день он взял их, только и всего. А это я вам рассказываю по его поручению, потому что он просит вас, как и просил и меня, не быть у него, — по крайней мере до времени, и считал полезным, чтоб я объяснил вам причину этой просьбы, чтоб не возбуждать в вас каких неосновательных подозрений, не означает ли такая просьба какого-нибудь недовольства его вами.

«Какая нежная деликатность о сохранении моего душевного спокойствия! Если б вместо того нашел в себе хоть тысячную долю такой заботливости о сохранении душевного спокойствия этой бедной девушки, то было бы гораздо лучше», — подумал я, но не высказал Илье Никитичу этого моего соображения, которое продолжалось в моих мыслях такою заметкою о человеческой натуре: «Нет, какими убеждениями ни хвастаются люди, а на деле все поступают как толпа, о низкой нравственности и невежестве которой так хорошо рассуждают. Пришла молодому человеку фантазия позабавиться амурами, — и тащит девушку в болото совершенно так, как потащил бы поручик Кувшинников, хоть называет себя и гуманистом, и социалистом и рассуждает о всем прекрасном так хорошо, что приходишь в восторг от возвышенности его мыслей и натуры. Ох, человеческая натура, человеческая натура!»

Отпустив Бориса Константиновича с обещанием достать ему денег, Илья Никитич стал соображать, у кого же взять их. — А у кого ближе, как не у Дятлова? — И он отправился к Дятлову. — Что такое? Больные в семействе? — спросил он слугу, отворившего дверь: квартира Дятловых была наполнена запахом гофманских капель. — Барыня очень расстроена, — отвечал слуга, — и барин тоже: барышня пропала. — Как пропала? — Так, — поехала вчера вечером, сказала — к приятельнице, да до сих пор и гостит у нее. — Как гостит? — Так, сударь: видно, приятельница-то с бородой, так очень занятно показалось нашей барышне-то у нее. — Что за дьявольщина? Неужели? — подумал Илья Никитич: — Вчера вечером, говоришь ты? — Как вы изволите говорить, точно так, вчера вечером.

Дятлов был очень сильно взволнован, так что даже и глаза его не поражали круглотою, а казались обыкновенными глазами опечаленного человека. Он не замедлил поделиться своим горем с Ильею Никитичем, как с родным. Все было совершенно так, как рассказал слуга. Но кроме того, что рассказал слуга, Илья Никитич узнал, что уже получено от Лизаветы Антоновны письмо, в котором она просит отца и мать не беспокоиться за нее, потому что она совершенно здорова, говорит им, что не может ни на что пожаловаться на них, что они были к ней добры, она продолжает любить их, но что разлука с ними была для нее необходимою. <Странно что-то, — подумал Илья Никитич, — неужели вообще она в письме так и признает, что не может ни в чем пожаловаться на отца и мать?>

Потужили, — но чувства чувствами, а дело делом, — потужив с Дятловым, Илья Никитич объяснил, зачем приехал, поторговались из-за процентов после необходимых предварительных уверений Дятлова, что у него теперь у самого нет денег, и что если б [были], то он дал [бы] Илье Никитичу без процентов, и что он не знает, откуда достать их для него, — разве вот у такого-то из своих чиновников, — поторговались, согласились о процентах, Дятлов вынул деньги, сказавши, что это он берет из казенной суммы, которая у него на руках и которую он должен будет дополнить займом у этого своего чиновника, и Илья Никитич уехал.

Через полчаса слуга из соседней с квартирою Бориса Константиновича харчевни понес к нему записку Ильи Никитича, имевшую такое предисловие, что «я дал тебе слово не бывать в твоей квартире, но мне необходимо как можно скорее видеться с тобою, и я жду тебя в харчевне, куда приведет тебя податель записки». Податель записки вернулся с ответом, что нет дома того барина, к которому посылал его Илья Никитич. Илья Никитич отправил его с другою запискою того же содержания, что «я прошу тебя тотчас же, как воротитшься домой, приехать ко мне. Р. S. Деньги для тебя я достал».

Борис Константинович приехал к Илье Никитичу уж под вечер, — он весь день искал квартиры.

— Вот деньги, Борис, — этими словами начал Илья Никитич, подавая деньги Борису Константиновичу. — Как ты думаешь, у кого я достал? —

У Дятлова, — прибавил он выразительным голосом после некоторой паузы.

Борис Константинович хладнокровно выдержал его взгляд, не моргнув и не пошевелился. Другой на месте Ильи Никитича при таком равнодушии слушателя предположил бы, что ошибся в догадке, но Илья Никитич сам недаром носил фамилию, как я ему заметил с тупостью, часто бывающею у меня заменою недостающего остроумия, — Илья Никитич знал, что это упрямое спокойствие еще не свидетельствует о непричастности Бориса Константиновича к делу пропажи m-ше Дятловой и только показывало надобность сделать приступ сильнее.

— Ты можешь заключить из моего тона, что я знаю имя девушки, которое ты не почел удобным сообщить мне.

<Это не совсем удобно для меня, но я надеюсь, что ты не изменишь тайне, которую узнал случайно.>

— Почему ты обратился за деньгами к Дятлову? — спросил Борис Константинович строгим тоном следователя.

— Потому что знал, что у него есть деньги, только, — отвечал Илья Никитич тоном пылкого уверения, показывавшим, что он почувствовал себя в странном положении: внешность действительно возбуждала подозрение в том, не имел ли он мысли разузнать, то есть изменить слову, то есть сделать бесчестное дело, поехав к Дятлову.

— Без подозрения, что можешь через это узнать что-нибудь?

— Честное слово, не предполагал.

— Верю. А я было усомнился в тебе, это было бы грустно.

— Нет, Борис, я честный человек.

— Верю, — сказал успокаивающим тоном Борис Константинович.

Илья Никитич вздохнул свободно.

— Ты не подозреваешь меня, Борис. Это делает тебе честь. Покойный за себя, я возвращаюсь к твоему делу. Догадка, случайно встреченная мною и уже ставшая достоверностью после твоего вопроса, возлагает на меня обязанность. Ты и я, мы смотрим на это дело различно. Ты находишь, что Лизавета Антоновна сделала хорошо, бросив семейство; я нахожу, что этот шаг опрометчив, — вреден для нее. Ты согласишься, что теперь, когда мое свидание с нею уже не составит нарушения ее тайны предо мною, ты не имеешь права возражать против такого свидания, которое будет, конечно, иметь свою целью попытку убедить ее в справедливости моего взгляда, в ошибочности ее и твоего, — попытку склонить ее возвратиться в семейство. Ты, конечно, не имеешь права ничего возразить против этого?

— Не имею, — сказал Борис Константинович. — Человек имеет право на то, чтоб слышать всякие мнения о том, что для него полезно или вредно. Я нарушил бы права Лизаветы Антоновны, если б стал возражать против твоего свидания с нею.

— Итак, едем.

— Едем.

— Еще одно, — я едва не забыл. Я мог бы требовать от тебя свидания с нею наедине, — конечно, так?

— Без сомнения.

— Но я считаю это ненужным, потому что, присутствуя при нашем разговоре, ты, конечно, не будешь ни словами, ни выражением лица ослаблять силу моих убеждений.

— Я обязан к этому, и если буду чувствовать, что это трудно для меня или что мое присутствие против моей воли укрепляет ее в согласии с моим взглядом, я уйду. Я имею свободу развивать перед нею мой взгляд, — противоположный взгляд имеет право быть выраженным перед нею в наиболее благоприятных для нее условиях.

Алферьев с гвоздем средней величины в голове, потому Алферьев, не важный в моем рассказе, и Алферьев с огромным гвоздем в голове и потому Алферьев — герой рассказа — отправились вместе — умеренный Алферьев — доказывать Лизавете Антоновне, что полный Алферьев — безумец, вле-

кущий ее в гибель, полный Алферьев — безмолвно слушать это доказывание.

Само собою разумеется, что аргументы Ильи Никитича несколько не подействовали на Лизавету Антоновну. Она очень жалела, что дело, на которое она решилась, огорчило ее родных, но сказала, что она предвидела это, что их огорчение скоро пройдет, что с ее стороны тут вопрос о довольстве на всю жизнь или неприятной для нее жизни навек, а с их стороны вопрос о временном, хоть, может быть, и довольно тяжелом огорчении, что баланс весьма неравен, и что потому находит себя правой. На рассуждения Ильи Никитича о том, что она губит собственную жизнь, она отвечала, что смотрит на это иначе; что положение в обществе ей не нужно, что к его мнению она совершенно равнодушна, словом сказать, что она не жертвует ничем, не теряет ничего; что если она ошибается в этом, то что делать, когда она не видит, что ошибается, а убеждена в том, что ее мнение справедливо; что если она когда-нибудь изменит его, тогда, конечно, будет раскаиваться в том, что сделала теперь, но что она не предполагает, чтоб ее мнение изменилось, и что во всяком случае человек не может действовать иначе, как по тем <убеждениям> мыслям и чувствам, какие существуют в нем в то время, когда он действует, — короче говоря, она говорила совершенно так же, как рассуждал бы и Борис Константинович, и с таким же спокойствием, как он. Илья Никитич увидел, что отклонить ее от ее решения так же напрасно, как бывало раньше отклонить Бориса Константиновича от его решений.

— Перестану спорить с вами, Лизавета Антоновна, — сказал он. — Вижу, что вы непоколебимы. Но если нельзя надеяться, что вы возвратитесь в ваше семейство, то нельзя ли убедить вас сделать что-нибудь для его успокоения?

— Я совершенно готова сделать для этого все, что можно сделать не во вред моему решению. Но, кроме того письма, которое вы знаете, я и Борис не могли ничего придумать. Предлагайте, если имеете что-нибудь лучшее. Я слушаю.

— Что ж тут можно сделать? — Илья Никитич задумался. Четверть часа в комнате господствовало глубокое молчание.

— Одно, — сказал Илья Никитич, — мне кажется возможным. Вы знаете, что огорчение ваших родных происходит из различных источников. Первый — родственная любовь, которая опечаливается разлукою с вами; для смягчения этого чувства нельзя сделать ничего. Вы потеряны, умерли для ваших родных, и воскресить вас нельзя. Но горечь этого чувства очень усиливается тем уважением к мнению общества, над которым возвысились вы. <Думаю, кроме того, что потеря тяжела сама по себе. Вы не только расстались с ним, вы вооружили против себя общество, вы, по моему мнению и, конечно, и по мнению общества, вы поступили... решение, принятое вами, не должно заслуживать нравственного порицания.

— Выражайтесь прямее, Илья Никитич!> — Вы затрудняетесь сказать то, что хотите сказать <к чему эта фальшь?> Я могу слышать резкие слова, без употребления которых ваша мысль выражается слишком темно. Я стала девушкою, потерявшею честь в мнении общества. Понятно, что это должно очень много увеличивать их огорчение. Но я не вижу, что можно сделать и с этой стороны.

— Вот что. Напишите, что вы удалились из дому, чтоб сделаться монахиней; что вы знали, что родные никак не согласятся на это, и потому уехали тайно. Это много успокоит их.

— Но это будет ложь, — сказала Лизавета Антоновна.

Началось долгое серьезное рассуждение, позволительное ли средство предлагает Илья Никитич. Борис Константинович, до сих молчавший, не выдержал, вмешался в спор. Наконец, Илья Никитич победил. Лизавета Антоновна написала письмо под диктовку Ильи Никитича, начинавшееся тем, что [когда] Дятловы получают его, она будет уже далеко от Петербурга, на дороге в пустынь, которую она не назовет им, и проч. Илья

Никитич взял письмо и послал его на другой день по городской почте. Дятловы не поверили письму, но действительно много утешились им, — теперь они могли не краснеть за младшую дочь перед чужими людьми. Чужие люди, разумеется, еще меньше Дятловых сомневались в том, что сбежавшая дочь сбежала к любовнику, но все-таки рот им был наполовину зажат твердою верою, которую высказывали Дятловы в истину письма, не внушавшего им на самом деле никакой веры. Скандал улегся, а скоро и был забыт всеми, кроме Дятловых, и если б через год Лизавета Антоновна явилась в дом со словами, что прожила это время в монастыре, то я не ручаюсь за то, что ей не поверили бы и на самом деле: люди вообще подготавливаются принимать за правду, что сначала только выдают за правду.

Я узнал об этих сценах много позже, чем они произошли. После того, как Илья Никитич предупредил меня, чтоб я не бывал у Бориса Константиновича, я с полгода ни от него, ни от Бориса Константиновича не слышал уж ни слова о деле, по которому было наложено это запрещение, и оставался совершенно незнающим, кто такая эта девушка, поселившаяся вместе с Борисом Константиновичем. Конечно, я думал только, что это должно быть та самая девушка, которую я встретил у него однажды поутру, — тогда она показалась мне совершенно порядочною, скромною девушкою, и тогда уж я пожалел о ней, что она так рискует собою, а теперь еще больше пожалел, что она и вовсе погубила себя, — но мало ли людей обоего пола губит себя? о всех не надумаешься, и я стал забывать историю, о которой никто не напоминал мне.

Но потрудился напомнить ее сам Борис Константинович и очень невыгодным для себя образом. Не то, чтобы он заговорил со мною о ней, — нет, слов не было, но было нечто гораздо хуже всяких слов.

Однажды вечером, зашедши ко мне, он застал меня одевающимся. — Куда? — К Желтухину. — Прекрасно, отправимся вместе, — сказал он. — Горничная m-lle Желтухиной отворила нам дверь. Я скинул пальто, как обыкновенно скидывают пальто, а Борис Константинович возился над развязыванием кашне, и таким образом я пошел из передней в зал один, — и сделав шага три по зале, услышал позади себя, в передней, поделуй. — «Вот как! — подумал я: — на два месяца вы, m-lle, хороша для меня, на третий месяц горничная m-lle Желтухиной лучше. Что ж, обыкновенное дело. Нужно разнообразие. Бедные девушки, вы жертвуете судьбою всей жизни, вас бросают через несколько недель <вместе с галстуком, как>. Так, так всегда бывает с вами. Бедные, глупые, жалкие. Что-то теперь с нею?» — Теперь я вспомнил, что уж и раньше, недели две назад, будучи у Желтухиных и встретив у них Бориса Константиновича, я, если б был наблюдательнее или догадливее, мог бы заметить то, что понял теперь: когда горничная, подавая чай, подходила к Борису Константиновичу, он сладко поглядывал и улыбался, она улыбалась и краснела. А через несколько времени я увидел на Саше — так звали горничную m-lle Желтухиной — шелковое платье; еще через несколько времени встретил Бориса Константиновича с нею на улице.

— А впрочем, что тут особенного? и чем я тут могу пособить? Следовательно, какая же мне нужда думать об этом? Но прошло еще два, три месяца и случилось такое обстоятельство, что пришлось мне не только подумать об отношениях Бориса Константиновича к неизвестной мне девушке, поселившейся с ним, — пришлось даже вмешаться в эту историю. Бывавши у Бориса Константиновича до запрещения посещений, я познакомился у него с несколькими молодыми людьми, его приятелями. Почти все они мне понравились, потому что у каждого в голове был свой гвоздь, — я смеюсь над такими людьми, но кроме шуток уважаю их, — а двое, трое так понравились, что я вошел и в прямое знакомство с ними, даже в короткое знакомство. Один из близко сошедших со мною молодых людей был Чеботарев.

И вот мой добрый знакомый, отличнейший, благороднейший, чистейший

человек, человек с нежною душою, человек глубоко уважаемый мною, Степан Сапожников зашел ко мне и начал такую речь:

— Смешна просьба, с которою я к вам обращаюсь, — какой вы посаженный отец! — но войдите в мое положение: вы единственный знакомый мне семейный человек и человек солидных лет. Откуда мне взять посаженого отца, кроме вас! Итак, будьте.

— Вы женитесь, Степан Петрович? Очень рад, от души желаю вам счастья <это желание было действительно от души, но радости, выраженной мною, я, признаюсь, не ощущал: я мальтусианец, и не люблю, когда женятся молодые люди без состояния. — На ком?>. — Кто ваша невеста?

— Сестра нашего общего приятеля Алферьева.

— Нашего общего приятеля Бориса Константиновича Алферьева? У него есть сестра? — сказал я, разевая рот.

— Неужели вы не знали? Правда, вы так рассеяны, вы пропускаете мимо ушей три четверти того [что говорится] при вас или даже вами, и через четверть часа забываете три четверти той четверти, которую успели расслышать. — Ведь он живет вместе с нею. Вы должны же это знать.

— Ах, вспоминаю, — сказал я: — в самом деле, какая рассеянность! Даже и не вспоминаю, а помнил, когда делал вам этот вопрос, не сообразил, что помню.

Я был очень доволен ловкостью этого оборота, которым вывернулся из дальнейшего разговора о моем вопросе: «разве есть у него сестра?», поспешил вновь выразить мою радость женитьбе Сапожникова, чтоб совершенно завалить этот вопрос новыми словами, сказал, что готов быть посаженным отцом, — и благополучно отделался.

«Так вот [как], это ваша сестра, Борис Константинович! Нет-с, это уж слишком!» — При всей моей уклончивости я не мог удержаться, чтобы не вмешаться в это дело: наконец, есть же и во мне хоть искра совести, а допускать совершить такую проделку было бы уж слишком бессовестно. Выдавать свою любовницу под именем своей сестры за своего приятеля! Прекрасно! — «Предрассудок!» — Хорошо, я мог говорить, что предрассудок, но говорить и чувствовать две вещи разные. Нет, это не совершенный предрассудок, то, в чем ставит общество честь девушки! Да, наконец, пусть это и предрассудок — тут дело в штуке, которая гораздо хуже того, что порицается этим по вашему, — да, только по вашему, Борис Константинович, а не по моему мнению: я только говорю это, а еще неизвестно, как я об этом думаю, — тут штука гораздо хуже того, что порицается этим, по вашему мнению, предрассудком, когда эта девушка в заговоре с вами выдает себя за вашу сестру, чтоб через эти уловки найти себе мужа, то, значит, она в самом деле уж девушка испорченной души. Это, Борис Константинович, уже очень плохо. Так вот как, Борис Константинович: соблазнили девушку, развратили девушку и гнусною проделкою сбываете ее с ваших рук на шею честному, чистому человеку! Прекрасно!»

Движимый этими благородствами и негодованиями, я по уходе Чеботарева, которого постарался поскорее проводить, потому что тяжело мне было смотреть на него, тотчас написал к Борису Константиновичу, что имею крайнюю надобность поскорее увидеться с ним и так как он запретил мне бывать у себя, то я прошу его заехать ко мне для очень важного разговора. В чем будет состоять этот разговор — ясно: я скажу, что если он не избавит Чеботарева от несчастной женитьбы, то я принужден буду сказать истину Чеботареву. — Конечно, как человек все-таки умный, Борис Константинович не захочет доводить дело до такого посрамления себя и найдет какое-нибудь средство расстроить, устранить свадьбу.

Это благородное намерение возникло у меня поутру, вечером приехал Борис Константинович, и у нас началось объяснение, результаты которого не совершенно соответствовали моему ожиданию.

Жар моего храброго благородства успел уж очень поостыть, и мне стало совершенно ясно представляться, что никто иной, как сам чорт, дернул меня вмешаться в дело, до которого нет мне никакой надобности.

[Положим, Чеботарев очень хороший человек, и я расположен к нему, но [это не] причина впутываться из-за него хоть бы в самые маленькие хлопоты? И я уж занимался размышлением, как бы увернуться от разговора, который накликал на себя благородною запискою. Надобно придумать какое-нибудь другое дело, которое бы выставить предложением для приглашения Бориса Константиновича, и уж подвертывался мне на мысль один хороший предлог, но еще не успел я обдумать и развить его, когда вошел Борис Константинович и, ничего не предвидя, обычным простым тоном сказал: «Что такое за важное дело до меня?» — Я по обыкновению растерялся, предлоги вылетели из головы и, оставивши меня в беспомощности, принудили меня [против] воли возвратиться к первоначальному благородству.

— Скажите, Борис Константинович, — начал я несколько робким голосом, — извините, что я касаюсь такого щекотливого предмета, — вы еще продолжаете жить вместе с девушкой, с которой поселились полгода назад?

— Да, — отвечал Борис Константинович.

Видя, что он не принимает моего вопроса за щекотливый, я несколько ободрился.

— Можно спросить, она выходит замуж?

— Да, — отвечал он холодно и безобидно.

— Как же это? — спросил я все еще скромным тоном.

— Что тут особенного? Разве у вас было какое-нибудь основание предполагать, что она зареклась выходить замуж?

— Нет, но, значил вы — значит, ваши отношения к ней изменились?

— Нет, — отвечал он все с прежней нещекотливостью, все более и более поощрявшей меня к храбрости; когда я вижу, что из храбрости не выходит никакого неприятного последствия, я становлюсь очень храбр.

— И вы выдаете ее за вашу сестру?

— Да, — отвечал он все так же спокойно, он решительно не сердился на мои щекотливые вопросы.

— Как же это, Борис Константинович, вы оставляете в заблуждении человека, который думает жениться на ней, предполагая вашу сестрою девушку, с которою вы имеете связь!

— Кто вам сказал, что я имею или имел с нею связь! Вы совершенно ошибаетесь в этом странном предположении, — сказал он равнодушно.

Я обиделся. Нет, уж это значит считать меня слишком смешным простяком, уверять меня в таких нелепостях. Обиженный даже индеек становится ужасен, когда займет безопасное положение, голос его принимает патетический тон и, прерываясь от мощной подготовки, вопиет очень эффектно, — то же бывает со мною, когда я вижу, что могу безопасно предаваться пафосу.

— Положим, Борис Константинович, что я очень близорук (одна из моих острог, сделавшаяся, по мнению моих знакомых, совершенно тупою от слишком постоянного употребления, — у меня действительно очень близорукое зрение, и я постоянно острою в этом фигурально ироническом смысле, будучи убежден, что умственный взор у меня столько же зорок, сколько близорук физический), но как я ни близорук, все же я не совершенно слеп. Вы не имели связи с этою девушкою? Кому вы это рассказываете! ведь я не пятилетний ребенок, которого можно уверить в чем угодно.

<Да что особенно невероятного я вам говорю! — то, что в свете есть девушка, с которою я не имел и не имею связи, — или вы полагали, все теперь девушки.>

— Вам это кажется невероятно? Очень жаль, что мое мнение о вас в этом отношении оправдывается. Я предполагал, что это покажется вам невероятно, собственно потому никогда и не упоминал вам ни о своих отношениях к этой девушке, ни вообще даже о ней. К сожалению, все это только подтверждает мою мысль: поколение, предшествующее нам, глубоко развращенное в душе, неспособно не только иметь само благородные, человеческие отношения к людям, — неспособно даже верить возможности таких

отношений! — сказал Борис Константинович своим унылым тоном. — Это очень, очень жаль. Какой прогресс возможен, пока большинство общества составляют люди вашего и предшествующих, еще более дурных поколений? Это очень, очень грустно! Он уныло замолчал. Я тоже молчал, не зная, что и думать: дикость того, что он утверждал о своих отношениях к этой девушке, была слишком резка, — но тон его голоса был слишком непохож на тон человека, уверяющего в неправде. Но во всяком случае видно было одно: пафос мой как-то не удался, и следовало расстаться с ним.

— Борис Константинович, будем говорить хладнокровно. (Он посмотрел на меня с едва заметной усмешкою, говорящую: да разве это я горячился, а не ты?) Вы уверяете, что не имели связи с этой девушкой. Но согласитесь, что это действительно должно казаться неправдоподобно, это противоречит всем понятиям о человеческой натуре.

— Каким и чьим? вашим? быть может; пошлым — несомненно.

Разговор принимал психологическое направление, и я совершенно ободрился: личный вопрос о его отношениях к этой девушке терял всякий щекотливый характер, обращается в факт, который исследуется только с целью изучать человеческую природу вообще. По крайней мере, это казалось успокоительнейшим оборотом дела для меня, а он поддавался этому обороту.

— Но, Борис Константинович, как же не назвать неправдоподобным, что молодой человек и молодая девушка живут вместе и не имеют связи?

— Разве между молодым человеком и женщиною не может быть никаких других отношений, кроме того, что вы называете связью? Так думают турки и потому держат женщин взаперти. Мы отказались от этого обычая, следовательно признаем, что мужчина и женщина могут видаться, говорить, быть в приятии <просто как люди, не как самец и самка> и не вступать в те отношения, которые вы называете связью.

— Но, однакоже...

— Что «однакоже»? согласитесь, что оно пахнет ориентальной дикостью, слишком односторонней в своей чувственности.

— Да что ж это такие за отношения между вами? если не то, что должно казаться всякому, так что ж такое? не откажите просветить меня.

— Вам угодно, чтоб я рассказал историю наших отношений? В настоящий момент я не имею ничего против того, чтобы удовлетворить вашему желанию.

— В настоящий момент? а раньше имели бы?

— Если б не имел, то, конечно, не просил бы вас не бывать у меня, то есть не принял бы мер, чтобы вы не видели эту девушку и как можно меньше знали о ней.

— Что ж это за причины?

— Не причины, а причина, — та, что вы не умеете молчать. (Какая это досада! я считал себя человеком, очень умеющим молчать, но от каждого из своих знакомых слышал, что я болтун; сначала я принимал это за обиду и сердился, но теперь давно уж привык и считаю только одною из многих их несправедливостей ко мне, — ведь они точно так же [как] моего умения молчать, не признают и моего остроумия, и моей мечтательности — люди вообще расположены не признавать чужих достоинств.)

— Вам решительно ничего нельзя говорить, вы все разболтаете. Но теперь можно. Она выходит замуж. Если до ее семейства дойдет слух, где она живет, это несколько не повредит ей. Даже лучше — отец, вероятно, возьмет на себя свадебные расходы, может быть, даже даст приданое. <Он начал рассказывать эту историю.> Девушка, которая поселилась вместе со мною, — м-лле Дятлова, с которого я познакомился как сестрою моей дальней родственницы, — и он начал рассказывать все по порядку, — но из этого рассказа многое из рассказанного мною раньше, многое другое все-таки продолжало казаться мне неправдоподобным, по крайней мере странным, пока я сам не познакомился с Лизаветой Антоновой, пока сам не рассмотрелся близко в отношения, которые она мне описывала; поэтому

передаю историю его отношений к m-elle Дятловой уже не в их рассказе, а так, как надобно по ходу моего.

По окончании нашего объяснения Борис Константинович повез меня к себе познакомиться с Лизаветой Антоновной. Разумеется, это была та самая девушка, которую я раньше видел в гостях у него. Небольшого роста, худощавая, белокурая, с кудрявыми волосами, с серыми спокойными глазами, с несколько угловатыми чертами лица, она была очень похожа на Бориса Константиновича. Сходство темпераментов и характеров было еще поразительнее, чем сходство лица: такая же тихая, как будто даже флегматичная, говорит спокойным, кротким голосом. Когда я видел ее в первый раз, эта близость не была так сильно заметна, — она развилась от жизни вместе: Лизавета Антоновна сильно подчинялась влиянию Бориса Константиновича, человека старше ее летами и ее наставника. Когда я смотрел на нее через два года, я опять видел в ней меньше сходства с ним, — она вступила в другие отношения, а главное, приобрела полную нравственную самостоятельность, — и видно стало, что она не так безусловно, как Борис Константинович, подходит под определение «холодный фанатизм», — определение вроде того, как если бы сказать: «холодный огонь», — но [это] выражение, хоть совершенно нелепое, хорошо тем, что все его знают. Фанатизм — огонь, и холодным быть не может; но иной огонь горит неровно, то бросает огромное пламя взверх или в ту, в другую сторону, то опускается, — если у кого страсть действует так же, того все называют страстным человеком, — и справедливо, то несправедливо называть бесстрастными людей, у которых страсть похожа на огонь, горящий ровно. У Бориса Константиновича темперамент был уж до чрезвычайности ровный, у Лизаветы Антоновны — только очень ровный, она была гораздо менее неподвижна в своем наружном хладнокровии, но все-таки и от природы была и потом осталась, а вот тогда казалась очень холодна. Посмотревши на нее [я увидел], что Борис Константинович не слишком много рисковал ошибиться, когда подумал, что она не могла раскаиваться в своих решениях и что поэтому он может серьезно принять и помочь ей исполнить ее желание бросить семейство.

Но, несколько смягчившись к ней, я все-таки продолжал думать, что он и она поступили очень безрассудно. По своему обыкновению говорить только вещи, нравящиеся моим собеседникам (подозреваю, что мои приятели считают его во мне за бесхарактерность и отчасти за льстивость, не совсем возвышенную в нравственном отношении, но по моему твердому убеждению это только мягкость моей души) — по этому своему обыкновению я не говорил Лизавете Антоновне, как думаю, но она видела, что я держу себя несколько неловко, будто совещаюсь, догадалась о причине и заговорила прямо:

— Вам не совсем свободно говорить этим любезным и почтительным тоном со мною, которую вы в душе браните, — не так ли? Хотите, я отгадаю, за что вы меня браните.

— Это отгадать нетрудно, — сказал я солидным тоном, видя (тоже по обыкновению), что моя светскость недостаточна для ловкости, которую я хотел соблюдать. — Но — тотчас же прибавил я, хватаясь за свою необычайную светскую ловкость, — бывают семейства, жить в которых невыносимо; бывают отношения, вырваться из которых не бывает безрассудством даже тогда, когда, вырываясь, рискуешь оборваться в пропасть.

— Я не скажу этого о своем семействе и своих отношениях к нему, — отвечала она. — Мои отец и мать — неразвитые люди, очень неразвитые, это правда, но только и всего. Они не притесняли меня, отец мало вмешивался в мою жизнь, как большею частью отцы мало вмешиваются в жизнь дочерей. Мать — конечно, странно было бы, чтоб мать мало говорила с дочерью, — это даже показывало бы в ней дурную мать. Не скажу, чтоб ее разговоры мне нравились, — вы понимаете это: что общего у нас с нею? Мы люди разных миров. Да, в ее разговорах было много такого, чего я не могла одобрить; а вообще они были не в моем духе. Но только. Я всегда была готова признать, что если она старалась склонить меня к тому, что

для меня не годилось, то действовала по крайнему своему разумению, искренно, с расположением, следовательно заслуживала признательности если не за содержание своих мыслей, то за намерение, с которым их высказывала.

Лизавета Антоновна сама отнимала у меня возможность находить ее решение имеющим сколько-нибудь уважительные основания <строго порицая в душе>, и я в душе стал считать эту решимость еще менее извинительной, чем раньше, хоть, разумеется, не сказал ей этого <а она может или разговор теперь уж предполагал во мне сочувствие или просто разговорившись продолжала>:

— Но поймите ж мои тогдашние чувства. Не с кем поговорить, — весь день одна или хуже, чем одна, — свидания с Борисом Константиновичем были единственное время, когда я видела человека, с которым можно говорить. И сестра, и зять — люди не по мне. И единственный друг, которого я имела, погиб для меня. Поймите это, — представьте, что вас послали жить в деревню, где есть всякие люди, и хорошие, и дурные, может быть, и больше хороших, чем дурных, — но ни одного грамотного человека. Не правда ли, вы страшно соскучились бы, — не правда ли, вы всею душою рвались бы туда, где вы могли увидеть кого-нибудь, с кем вы могли говорить? И вдруг вы узнаете, что подле вашей пустыни живет ваш друг, что вы можете видеться, — вот каково было действие, произведенное на меня ответом Бориса: «почему ж нам не видеться? Я не могу бывать у вас, но что мешает вам бывать у меня?» Вы можете сказать: мешало многое, видеться с ним было страшной опрочетчивостью. Но опять перенесите себя в то положение, с которым я сравнила свое: если б этот друг, видеться с которым стало для вас возможно, если только вы захотите, — если б он жил от вас за оврагами, перебираться через которые трудно, — за лесом, в котором, говорят, вы могли встретиться с медведем, в котором, говорят вам, встречаются иногда разбойники, — ну, словом сказать, если б эта недалняя дорога, которая отделяет от вас друга, была наполнена всякими опасностями, — скажите: достало ли бы у вас рассудительности, чтоб сказать: «нет, не пойду к нему»? и неужели это была бы рассудительность? нет, нет, это был бы недостаток мужества, бесхарактерность, вялость, — я назвала бы вас трусом. Да.

— Дружба — чувство холодное, — сказал я, она жалеет себя; но я понимаю, что можно пренебрегать опасностями, когда видеться с человеком более сильная потребность, чем чувство дружбы.

— Вы совершенно не хотите понимать меня, — сказала она, — неужели, чтоб понять мою решимость бывать у Бориса, нужно предполагать во мне какое-нибудь другое чувство, кроме потребности видеться с человеком, которого чувствуешь близким себе по понятиям, по настроению мыслей, по интересам? Вы чуть ли не предполагаете, что я была влюблена в него! — Она засмеялась. — Посмотрите на него, разве он такой красавец, в которых влюбляются без заискивания с их стороны? — Но, Борис, я знаю, тебя огорчает это, когда говорят, что ты не красавец, хоть ты сам знаешь это, — прости, он заставил меня высказаться своим смешным намеком.

— Неужели вы думаете, что Борис когда-нибудь ухаживал за мною? он никогда не обращал на меня никакого внимания, посмотрите на меня, — я далеко не красавица, неужели он станет волочиться за девушкой некрасивой?

Мне показалось, что моя светскость была бы тут неуместна, что не следует возражать ей: «нет, вы напрасно говорите, что вы не хороша лицом», — потому что она говорит о своей некрасивости точно так же без отчаяния, как говорит о себе это обыкновенно мужчина, но все-таки я собирался сказать это по своему обыкновению говорить то, что не нужно, но она, не давая мне места вставить любезные возражения, продолжала без перерыва: есть люди, для которых не главное в лице то, что называют красотью, — я знала, что я могла нравиться некоторым <все равно, как и Борис может нравиться некоторым, хоть тоже некрасив>.

— Да, — сказал я, — на этот раз правду и не некстати, потому что не по своей светскости, а правду, — его лицо привлекательно, потому что в нем очень ясно [выражаются] ум и доброта.

— Для некоторых этого довольно; для нас с ним — нет; он не понимает, что в нас с ним это слабость, — Сапожникову мое лицо нравится, даже очень; но Борису мало того, чего довольно Сапожникову, — он ищет красоты, как и я. Из всех, кого я видела здесь, я могла влюбиться только в двух: в Илью Никитича и в Сапожникова; лица остальных мне положительно кажутся дурны.

— Это несправедливо, — сказал я: — из молодежи, которую я знаю как приятелей Бориса Константиновича, почти все недурны лицом.

— Для меня этого мало, — сказала она: — я могу с удовольствием смотреть только на лицо известного типа тонкого изящества>.

— Сапожникову мое лицо нравится, даже очень, но вкус Бориса гораздо требовательнее.

— Гм! не знаю, как вам сказать... — промычал я.

— Как же? — сказала она: — посмотрите на Наташу, она очень хорошенькая — горничная m-elle Желтухиной.

«Однако мы начинаем недурной разговор», помыслил я, но сказал не то, что помыслил, а сказал:

— Наташа очень хороша, это правда, но я думал не про нее. — Ляпнувши это, обрадовался тому, что против собственного ожидания выразил свою мысль не с обычной для меня в подобных случаях ясностью.

— Про кого же вы думаете? конечно, не про Катю: Катя была еще гораздо более хорошенькая, чем Наташа, — поверите ли, я целовала ручку у Кати. Ах, какая ручка! но что за личико!

— О Кате я ничего не знал, — сказал я, но Лизавета Антоновна не запылась этим возражением, потому что задумалась.

— О ком же это вы говорили? Ах, я не догадалась, вы хотели сказать о сестре!

Я увидел, что мысль моя была выражена не так неясно, как я было с радостью подумал. — Правда, сестра далеко не красавица, — продолжала Лизавета Антоновна, — но в ней есть то, что очень много заменяет красоту для людей, подобных Борису: у нее очень сладострастное лицо.

(Гм! помыслил я.)

— Вы видели картины, на которых нарисована разметававшаяся вакханка, — припомните выражение лица: то самос. (Я заметил за собою, что несколько моргаю, и удержался от этого.)

— Для сладострастных мужчин это кажется чрезвычайно обаятельно, как вы знаете. А Борис чрезвычайно сладострастен. — Я снова заморгал, однако нашелся очень счастливо, по крайней мере не покривив душою:

— Борис Константинович сладострастен? Я не знал этого, — сказал я, уж сам не понимая, что я говорю, только чувствовал, что не лгу, — я до этих пор не знал этого свойства Бориса Константиновича. Он очень часто излагал мне разные свои соображения по части Мальтусовой теории, и такие, что я не читывал ничего столь обстоятельного ни у Рабле, ни в *Cent nouvelles* Маргариты Наваррской, ни даже в фолиантах очень крупной печати в кожаных переплетах с медными застежками, просвещавших мое детство, но он излагал это совершенно с ученой точки зрения, тоном ботаники и зоологии <так что, признаться, я его считал почти человеком холодноватым>.

— Да, он очень сладострастен. Он не может жить без женщин. Вы не знаете, вы не поверите, до каких глупостей он доходит, — Наташа не позволяет ему делать глупостей, она девушка с характером, но Катя иногда прибегала ко мне в комнату искать у меня защиты. <Я должна была защищать ее, доказывать ему, что это нехорошо.> Но должно ему отдать честь: он никогда не преследовал ее <если б она не была девушка скромная, я не знаю, что теперь стало бы>. Она сама не была сладострастна, но

очень любила его и позволяла ему дурачиться. Ах, как они шалили! Она мне все рассказывала. Ах, как они шалили! Но это понятно, в ней все было так очаровательно <я совершенно извиняю его>.

Когда разговор принимал этот оборот, то ее слова производили на меня уж совершенно другое впечатление, я моргал, но когда Лизавета Антоновна доканчивала неожиданный эпизод <я чувствовал, что она поставила себя в такие отношения к себе, в каких я был к Борису Константиновичу>, какой, я сейчас скажу, и я спросил наивным тоном:

— А в вас этого совершенно нет, чем привлекала к себе Бориса Константиновича ваша сестрица?

— Сладострастия? Нет, во мне совершенно нет его, вы видите. Не имея ни сладострастия, ни красоты, я не могла ему нравиться.

— Но Сапожникову вы понравились, — разве у него менее тонкий вкус?

— Нет, но у него другой вкус. Для него очень важно выражение в лице — я ему понравилась за выражение моего лица.

— Он тоже сладострастен, как Борис Константинович?

— О, нет, нисколько, — и вдруг покраснела: — Однако, вы смеетесь надо мною! <я почла вас за одного из наших?> Вы дурной человек тоже, как те, от которых ушла, тоже, как моя сестра, как ее муж.

— Хорошо, — сказал я, — если вы угадали, только я буду так говорить. Что же это вы говорили, Лизавета Антоновна? вы говорили мне бог знает что, чего никак нельзя говорить, о чем никак нельзя говорить. — Она посмотрела на меня внимательно и раздумывала.

— Я заставила вас дурно думать обо мне?

— Нет, Лизавета Антоновна, — не заставили, — я уже очень давно думал о вас дурно, когда не был знаком, а теперь точно вижу, что напрасно думал о вас дурно. Но, Лизавета Антоновна, такие разговоры, какие вы сейчас вели со мною, такие мысли...

— Вы хотите сказать, они неприличны для девушки? Да, я теперь вижу это, но ведь это первый случай, я не остереглась.

— Как же это первый случай, Лизавета Антоновна? Вы видите, теперь я не смеюсь над вами, я стал говорить серьезно, — как же это первый случай?

— Как же это первый случай? — повторила она и задумалась, — а ведь это в самом деле первый случай. Как же это? — Она задумалась:

— Я понимаю теперь, почему я сказала, что это первый случай: вы давали моим словам такой смысл, какой они имели бы для моей сестры. Здесь никто не хотел так обращаться со мною, все говорили со мною просто, никто не был со мною хитер и зол, поэтому я ни с кем и не говорила того, что я говорила с вами. Не говорите со мною так; зачем?

— Я не буду так говорить с вами, Лизавета Антоновна. Но [вы] сказали: «я в первый раз имею такой разговор <с тех пор, как живу>», — я это не совсем понимаю, ваши слова были таковы, как будто вы говорили о предмете, очень знакомом вам, — вероятно, вы имели много разговоров с тех пор, как живете здесь, — да вы сами говорили, что Саша, о которой я только от вас и узнал, была хорошо знакома, Наташа тоже знакома вам.

— Об этом предмете? да, я говорила о нем очень много с Борисом, потому что мы вместе живем, нам нельзя было не говорить, с Наташей — почти нет, потому что мне нет надобности вступаться в ее отношения к Борису, она сама умеет держать себя; у нее есть характер; но за Сашу я должна была вступаться, я вам говорила, — я увидела, что она плачет, спросила, о чем, она недовольна Борисом, иногда бывала не в духе, спросила ее, отчего; она сказала мне, что Борис иногда слишком надоедает ей своими глупостями, а она не умеет удержать его от них, вот я вступалась за нее, — натурально, я должна была слушать, когда она прибежала и жалуется, — но это так смешно, — она очень миленькая, прелесть какая хорошенькая, и мне самой смешно было бранить Бориса за то, что он увле-

кается ею; итак, с нею и с ним я много говорила, по его отношениям к Саше; но и кроме того он считал нужным говорить со мною об этом вообще, для моей пользы, — чтоб я не оставалась глупым ребенком, — и это было очень хорошо. Но с другими я очень мало [говорила] об этом, потому что это для меня не интересно <у меня не такой темперамент>.

— Позвольте, Лизавета Антоновна, это нужды нет, что я вызвал вас на такой ответ; это я не делаю дурно? я не вовлекаю вас в дурной разговор?

— Нет; теперь нет.

— Какая разница между моими прежними вопросами и этим? они об одном и том же, я не вижу разницы.

— Вы не видите? Если вы видите и говорите, что не видите, то это дурно.

<Как же не видеть? вы должны видеть.>

— А я думала, что вы видите, потому и отвечала вам.

<Я сам сбился.>

— Я прямо [скажу] вам, Лизавета Антоновна: я сбиваюсь и не знаю, как думать о том, что мы сейчас говорили: мы говорим о прежнем предмете; я сам заметил, что разговор наш не тот, какой было я завел, и вы оскорбились; но он все о том же.

— А, — я вам скажу, какая разница: разве вы думаете, разговор бывает оскорбителен по предмету, о котором он ведется? разговор об одном и том же предмете, с одним и тем же человеком может быть оскорбителен и неоскорбителен для меня, как и для всякого другого, смотря по тому, зачем этот человек ведет этот разговор, с какими мыслями он ведет его. Теперь мне показалось, что мы говорим вот о чем: вам показались неясны некоторые мои слова, вы хотели понять, какой смысл они имеют; вам вздумалось узнать, какие были мои отношения, вы спрашивали меня об этом; — если мой ответ будет правдоподобен, вы поверите ему, если нет — нет; если вам покажется, что я солгу, вы подумаете, что я солгала, если нет — нет. Это не оскорбительно.

— Но прилично ли?

— Я нахожусь, так или иначе, в тесных отношениях с некоторыми из людей, к которым вы расположены; вы интересуетесь знать, что такое я, и для этого говорите со мною, — в вашем любопытстве нет ничего неуместного, потому оно прилично: быть может, у вас есть и другой интерес, — вы видите девушку, в данном положении, которое считаете исключительным; вы хотите видеть, какой характер принимают понятия девушки, ставшей в данное положение, — по вашему мнению, исключительное, — я не вижу тут ничего неуместного с вашей стороны, потому ваш разговор приличен. Тот разговор, который начали теперь. Что вы делали раньше? вы, чтоб посмеяться надо мною, заманивали меня в ответы, которым намерены были придавать смысл, вредный для меня, это было вредно для меня. Вы говорили со мною, как говорят с плутом, с обманщицею, которую хотят перехитрить, — характер разговора, который прекратился тем, что я обиделась им, можно определить так: «я говорю с человеком бесчестным: прямым образом этот человек, конечно, не захотел бы дать против себя улик, — надобно выманывать их из него, и каждому его слову я буду давать такой смысл, чтоб оно повертывалось уликою его в моих мыслях (или в моих отзывах о нем) в том, что он бесчестен». Понятно, что такой характер разговора очень оскорбителен для лица, с которым ведут его. Однако не думаю, чтобы я находила что-нибудь особенное в вашей попытке иметь такой разговор со мною, — такие разговоры постоянно ведутся в обществе. Их ведет каждый с каждым, — муж и жена, родители и дети постоянно ведут между собою такие разговоры, — разговоры, в которых основная мысль: «я не верю тому, с кем говорю; я считаю его — или ее — бесчестным человеком, обманщиком или обманщицею, я имею дело с мошенником или мошенницею». Это все так говорят между собою. Если в нашем обществе во всех отношениях знакомства и родства люди смотрят друг на друга как

на плутов и говорят друг с другом сообразно этому: как на плутов, плутовство которых должно будет обличить, — и слова которых поэтому принимаются с таким смыслом, с каким полицейский слушает слова ворюшки, пойманного запускаящим руку в чужой карман и старающегося увернуться от заслуженного наказания. — Так постоянно говорят между собою все в обществе, потому общество — то обычное общество — всегда было для меня гнусно. Всякий в нем говорит так со всеми, говорил так и со мною, — моя сестра так говорит с своим мужем, со всеми своими подругами и друзьями, — и со мною точно так же. И точно так — всякий; поэтому я так часто подвергалась этому оскорблению, как подвергались ему и вы. И всякий другой; поэтому ваша прежняя попытка завести со мною такой разговор не представляет ничего особенного; она только застала меня врасплох, потому что я привыкла знать, что никто из людей, которых я вижу, не сделает такой попытки.

— Вы позволите мне, Лизавета Антоновна, сказать вам, что вы мне говорили?

— Что я вам говорила, по вашему мнению?

— Вы сказали мне, что я сделал подлость и что я мерзавец.

— Отчасти вы правы, — произнесла [она], раздумывая, — да, мои слова имели тот смысл, что по масштабу, принятому здесь, ваш поступок со мной низок. Но вы видите, что это вышло само собою, потому вы не должны оскорбляться, — вы видите, что я говорила не с этою мыслью, я разъясняла данное положение, которое вы находите неясным; я занималась только сущностью положения, личный вопрос был забыт мною. Вы видите, что я хотела сказать совершенно другое, что я не имею причины оскорбляться, — что в нем нет ничего особенного с вашей стороны, что он стал неловок и вовлек меня в ошибку только от случайного места, только оттого, что происходит в этой комнате, — я хотела сказать только это, — вы согласны с этим?

— Да, сказал я, вы совершенно правы, я видел, что вы не хотите мстить мне, — что я сам, что мщение вышло само собою, без вашей воли.

— Не умею сказать, — отчасти сомневаюсь, действительно ли в ваших словах не было намерения наказать меня за оскорбление, сделанное вам.

— Сознательно я не думала об этом, — сказала она, задумываясь, — бессознательно очень может быть, что мною управляло это чувство. Я была очень обижена — собственно не важностью вашего оскорбления — оно ничтожно, его ежеминутно наносят в обществе каждый каждому, и я, как вы, сотни тысяч раз подвергалась ему, — а только тем, что я давно отвыкла от этого. Теперь вы согласны с тем, что я говорила?

— Теперь совершенно согласен, — сказал я, улыбаясь.

— Позвольте, я прошу вас высказать мысль, от которой вы улыбаетесь, — сказала она строго: — я б не имела права требовать этого, если б не тот ничтожный случай, о котором мы сейчас говорили и который показывает, что вы можете иногда иметь дурные, оскорбительные мысли, — согласитесь, [я] теперь имею право не доверять вам и требовать у вас признаний, которых не имела бы права, потому что не имела бы нужды требовать от другого. Что вы думали, улыбаясь?

— Я улыбнулся, думая: совершенно Борис Константинович, — я подумал именно этими словами, так и высказывал; но в самом деле, Лизавета Антоновна, ваша манера рассматривать вопросы и его манера совершенно одинаковы. <Та же полнота, широта взгляда>, тот же прием разбирать все на основании принципов неоспоримых и незыблемых; та же добросовестность изложения, та же сила диалектики, та же основательность выводов.

— Да, я очень много обязана Борису, — сказала она, — это во многом его влияние; но я сама знаю, что теперь я под его влиянием, — что со временем окрепну, буду самостоятельнее, но что теперь это так, я его ученица и последовательница, это так. Над ним вы смеетесь, я знаю, — натурально,

что вы должны смеяться и надо мною. Это хорошо, что вы не скрываете этого.

— Если это хорошо, — сказал я, улыбаясь больше прежнего, — то уж позвольте мне совершенно заслужить эту похвалу полною откровенностью: над вами я смеюсь даже больше, чем над ним.

— Почему же? — сказала она совершенно серьезно: — ах, да, конечно, так, — это по обыкновенному предрассудку, различающему роль различных полов и в умственной жизни; правда, если вы находите известную сторону умственной жизни смешною в женщине, когда она достигла известной степени развития, то при этом предрассудке такая же по вашему мнению утрировка должна казаться вам еще гораздо смешнее, когда вы видите ее в женщине, — это так. Вы правы: я должна представляться вам еще гораздо смешнее, чем Борис.

— И та же самая невозмутимость духа, как в нем, — сказал я, смеясь, — та же готовность признавать <всякую логику> всякие выводы из каждого данного положения. Позвольте мне говорить уж еще прямее: в нем, как в мужчине, за экзальтированностью незаметно педантизма; но на вас это выражается ясно, вы такая педантка, что я серьезно ужасаюсь вас — вы Медуза, всякий, кто взглянет на вас, чувствует, что обращается в камень.

— В этом вы ошибаетесь, — сказала Медуза, тоже засмеявшись, — вы увидите, что Сапожников будет ходить вместе со мною вокруг налож, — значит, на него мой взгляд не производит окаменяющего действия. Полноте, какая я педантка, — я, может быть, женщина холодная, может быть, несколько резонерка, этого я не знаю, может быть, и правда, но я вовсе не педантка, — о, нисколько. Я очень простая женщина. Впрочем, чтоб сделать вам удовольствие, я еще продолжу то, что вы называете педантизмом. Знаете ли, почему вам пришло в голову назвать Бориса человеком экзальтированным, когда вы его видели в первый раз, — он мне рассказывал это, — а меня именно педанткою? Вы видите два лица с одним и тем же качеством, которое вы находите недостатком. Это качество имеет две стороны, одна из них напоминает вам слабость, которую предрассудок приписывает преимущественно женщинам, — другой мужчинам — экзальтированность <экзальтированность — женщине, педантизм — мужчине, по предрассудку более часто встречается в женщине>, поэтому педантизм в мужчине не удивительно для вас, вы его пропускаете и замечаете в Борисе экзальтированность, которую вы по предрассудку гораздо менее педантизма ждали встретить в мужчине. В женщине не удивительно по вашему предрассудку экзальтированность, вы пропускаете ее и замечаете во мне только педантизм, которое гораздо более экзальтированности ждали встретить в мужчине. Так?

— Совершенно вы в состоянии написать очень хорошее исследование о том, как правильнее писать фамилию Лермонтова — Лермон или Лерман.

— Хорошо, доставляйте мне материал, я буду писать об этом, — сказала она.

— Ах, какая вы смешная, Лизавета Антоновна, — ну, как же это можно заставлять человека, который в первый раз вас видит, прямо в глаза смеяться над вами, говорить вам, что вы смешны, и говорить это в правду, а не в шутку, от чистой души, — ведь это, наконец, такое забвение всякой благопристойности с моей стороны <какому нет меры> — и вы даете мне право на это.

— Что ж тут особенного? Если не было ничего непозволительного для вас начать подсмеиваться над Борисом с первого разу, то почему ж это непозволительно относительно меня?

— Да то, что вы женщина. Непозволительно мужчине говорить женщине в глаза, что она смешна.

— Ах, боже мой, да бросьте вы эти глупости, мужчина, женщина, — это все равно.

— Ну, хорошо, если это все равно, если я могу обращаться [с вами] так, как с Борисом Константиновичем, я сделаю вопрос вам самой, совер-

шенно безобидный <для молодого человека, которому я сделаю его, когда видел хоть и в первый раз>, можно?

— Можно.

Я захохотал. <Впрочем, я сделаю этот вопрос в совершенно благо...>

— Впрочем, предупреждаю вас, что делаю этот вопрос только для того, чтоб поймать вас на ваших словах, иначе не сделал бы. Скажите, Лизавета Антоновна, вы до этих пор были в связи с кем-нибудь?

— Я? Нет, — отвечала она.

— Вот, я и ловлю вас на этом, — сказал я, подражая ее серьезности и холодности: — это непоследовательно с вашей стороны. Вы должны бы иметь связь с кем-нибудь, ведь в этом же нет ничего дурного по вашему мнению.

— Вы, кажется, говорите это не шутя?

— Да, не шутя.

— Странно; я полагала, что <я полагала, что мы сходимся с вами в мыслях об этом вопросе> вы более знакомы с понятиями, которые кажутся мне справедливыми. Хотя я и педантка на ваш взгляд, но ведь вы <даже по опытности знаете вдвое старше меня, по крайней мере вы больше> но ведь я читаю сносные книги только три, четыре года, а вы двадцать лет. — Хотя вы и не педант, а должны бы иметь <в них больше начитанности> понятие, как думают об этом порядочные.

— Я знаю об этом много мнений, но не знаю, какого из них держитесь вы.

— Нет, вы и это могли бы знать. По образу мыслей людей, с которыми я близка, вы знаете, каков мой общий образ мыслей, и вы должны знать, какое мнение об этом предмете неразлучно с этим образом мыслей.

— Нет, не знаю.

— Да вы говорите серьезно или шутите? — это странно, — сказала Лизавета Антоновна, задумываясь. — Неужели это так? — проговорила она про себя, — да, должно быть. — Вы, должно быть, плохой человек, — сказала она грустно.

— Старого поколения, Лизавета Антоновна.

— Ах, да, — сказала она успокоившимся тоном, — в самом деле нет надобности предполагать в вас особенно дурного человека, я не сообразила этого, — да, вы человек старого поколения, только поэтому вы и не понимаете.

— Да, я не могу отгадать, что удерживает вас от того, чтобы иметь связи, — ведь в этом по вашему мнению нет ничего дурного для девушки?

— В нравственном смысле — да, тут нет ничего дурного, это безразлично. Есть очень много вещей, безразличных в нравственном смысле: впасть в бедность <зубная боль, перелом руки, бедность, потерять глаза>, окрипеть, это несколько не предосудительно в нравственном смысле; но я избегаю этого.

— Так это <страдания, каких> несчастья; их надобно избегать; но какое же несчастье в том, чтобы иметь связь?

<для мужчины никакого; для девушки — это не несчастье, это очень большое неудобство>.

— Я не называю несчастьем тех вещей, которые [вы] назвали: и бедный и кривой может быть очень счастлив; но все-таки быть бедным или кривым — очень большое неудобство.

— Какое же неудобство в том, чтобы иметь связь?

— Для мужчины — никакого; для девушки — очень большое. Разве вы этого не находите?

— Сам-то я нахожу, но я не знаю, какие находите вы, — ведь вот, вы хвалите Наташу, а Сашу еще больше.

<Что же вы не называете еще третье лицо, о котором можно предполагать, что имя несколько времени было связано с именем Бориса Константиновича и которое еще ближе мне.>

— Наташа, Саша — это еще не полный список лиц, которые нравились

Борису Константиновичу; мы говорили еще о третьем лице, которое еще гораздо ближе ко мне, — о моей.. (Лизавета Антоновна не договорила).

— О вашей сестре? Я не должен был говорить о ней, потому что Серафима Антоновна и не имела связи с Борисом Константиновичем (я был тогда так же твердо убежден в этом, как все сплетники и сплетницы), но <Вот, мне только это и было>—вы сами не договорили.

— Я не сказала ее имени затем, чтобы вы сами произнесли его, — мне хотелось услышать, как вы произнесете. Наташа, Саша, но — Серафима Антоновна. Я не хочу, чтоб <смели говорить обо мне с кем-нибудь> вы называли меня Лиза, а не Лизавета Антоновна. Для Наташи и Саши это невозможно, — и до того времени, когда они начали иметь любовников, они были для всех Наташа и Саша, — лицо Лизаветы Антоновны начало несколько румяниться, — им уж не дано было и родиться огражденными от обидного обращения <справедливо ли то, что я родилась с этою привилегиею, справедливо ли, что >. Это привилегия <другой вопрос>, но она драгоценна, <может быть, я не хочу, чтоб на свете были Наташи и Саши, об этом можно спорить, но только то теперь бесспорно, что судьба их, что они родились обреченными терпеть такое обращение, которое я могу и хочу не терпеть. Наташа, — по-моему, вы смеее говорить «Наташа» о девушке, которая не сестра и не племянница, — как вы смеее делать это? а это делают все, все равно, имеет ли она связь с кем-нибудь или чище, держит себя строже, чем ваша сестра и всякая девушка нашего круга> потерять ее — большая потеря, чем потерять руку. «Наташа» — мне хочется, чтоб не были на свете Наташи, — мы стремимся к тому, чтоб их не было на свете, —..

II

ТЕКСТ ПОВЕСТИ „АЛФЕРЬЕВ“, ПОСЛАННЫЙ В СЕНАТ В КАЧЕСТВЕ „ОБРАЦА ЧЕРНОВОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЫ“

Он непременно должен был жаловаться вам на меня: вы не разуверите меня в этом. Иначе, вы не стали бы говорить мне таких вещей при первом свидании.

«Точно! сестра Бориса Константиновича! — подумал я: — он не обманывал, называя ее своею сестрою. Изумительно, как она могла родиться не сестрою ему: та же самая основательность логики! Силлогизм безукоризнен! Не подточить! Братец говорит: вы не смели бы говорить этого с такой уверенностью, если бы кто-нибудь не сообщил вам положительного сведения. Сестрица говорит: вы [не] стали бы говорить этого при первом свидании, если бы вам не было сделано положительной просьбы говорить со мною об этом». — Совершенно основательно, mademoiselle и monsieur: не могу спорить против ваших посылок, не компрометируя своей умственной репутации. Потому не спору. А как посылка принята, вывод готов: «если кто-нибудь мог сообщить вам, то единственно Илья Никитич», «Если кто-нибудь мог просить вас делать мне выговор, то, конечно, только Сапожников». Несомненно, monsieur и mademoiselle, — ни кто другой. Спор невозможен. Математическая истина. Одно только забыто: то, что я человек, и мог сказать глупость.—(Этой возможности для меня не предполагается, потому что я непогрешителен, ибо я для них римский папа, — а я для них римский папа потому, что они римские папы: каждый судит о людях по своей мерке. Мерка слишком высока, monsieur и mademoiselle, — да и вы. Потому люди не могут представляться им иначе, как римскими папами: папы у них бывают всякие, и дурные и хорошие, — только всё непогрешительные; разумеется, папы новейшего фасона, из магазинов maison Delise и Wiegandscher Verlag); прежние папы были непогрешительны в католической вере, а новые папы, — то есть вы, и вследствие того все люди в ваших глазах, непогрешительны в диалектике. Аз рѣх бози есте. Это наш учитель сказал: Der Mensch ist der

Gott und der Gott ist der Mensch *. Великий вероучитель: столь же пылкий в вере, как Магомед, — не шарлатан: собственными руками получил коран с небеси. Вы и веруете. И последствия вашей веры — чудеса; подтверждают ее истину, — несомненно: Илья Никитич — обращается в сплетника по вашей вере; Сапожников — в такого дурака, который вмешивает чужого человека, с боку припеку, в свои отношения к невесте, с которой этот человек не познакомился познакомиться в течение полугода, хоть чуть не каждый (день) проходил мимо квартиры, где она живет, значит, очень интересуется этою девушкою. Это чудеса. Вы скажете, mademoiselle и monsieur: «это мелочи, из которых не может выйти ничего дурного», — я согласен: я исправил вашу ошибку, monsieur, сказавши с обыкновенным геройством самообличения, что я (как оно и действительно было) сказал неважную глупость ни с того, ни с сего; да хоть бы и не объяснил, так неважность сказать по секрету приятелю не бог знает какому сплетнику, то есть мне, что ее манеры резки, угловаты. Конечно, ты и сам рассудил бы это через минуту, хоть ты и сумасшедший. Я сейчас исправлю и вашу ошибку, mademoiselle, таким же геройством самообличения; да хоть бы не достало у меня геройства на это, вы, хоть вы — и сумасшедшая, скоро догадались бы, что человек, полгода не интересовавшийся познакомиться с вами, не станет вмешиваться в ваши семейные дела, — ведь очень может быть, что [есть] занятия поделнее и поинтереснее этого, — вы поняли бы, что с моей стороны семейное ваше спокойствие не будет возмущено, хоть бы ваш [а не мой] милый жених, paulo-post-futures ** муж, — однако я сказал в мыслях довольно удачный каламбур: чистый Рабле, превосхожу гениальностью Маргариту Наваррскую, — и просил меня об этом. Это мелочи, я согласен. Но из того же принципа следуют и крупные чудеса. Вы, monsieur, ни с того, ни с сего вышли в отставку, без гроша денег, без работы — это не бесчестно, — но это риск умереть с голоду, — для вас это не сумасшествие, я согласен, я не так глуп, чтобы принимать с вами битву в этой позиции, — пусть бьются с вами в ней дураки, — я не так глуп, милостивый государь, — я не Макк, чтобы лезть в Ульм, — я на месте Макка дал бы сражение только примерное, чтобы подзадорить вашу диалектику, — а для настоящей-то битвы я бы вас в Пеште, — тогда бы я посмотрел, какой Наполеон вышел бы из вас. Нет-с, я читал знаменитого баснописца Отечественной войны: — вы понимаете, Борис Константинович, что я хочу сказать вам, вот что-с: в принципе я не спорю, и вы не сумасшедший. Для вас, при вашем твердом характере, это ничего не значит, вы правы, — вы, лично, — для вас неважность немного понуждаться, это вы перенесете шутя. Это ваш Ульм. Вы имеете твердый характер, — вы каждый день в мелочах выказываете его; по закону тождества, несомненному, логическому закону, вы есть вы, — это я знаю так же твердо, как вы, потому знаю, что вы выкажете его и в крупном, не раскаетесь, что вышли в отставку. Я отступаю до Смоленска. Раньше пусть дерутся с вами дураки. Раньше вы были или правы, или была глупая сплетня. Позвольте попросить переговорить со мною насчет некоей дамы или девицы, — ибо сия единая суть, — имени которой не нарицаю, ибо nomina sunt odiosa, favete linguis *** и сие последнее составляет каламбур, означая по Кронебергу favete linguis **** 1) молчите; 2) отзывайтесь хорошо (словарь И. Кронеберга, sub voce favere — под словом favere), первое же nomina sunt odiosa — толкуется: не приемай имени всуе, — я согласен на это толкование, Борис Константинович, оно несомненно. Итак, я знаю, в истории с коею дамою или девицею, которая... Вы произносите имя Серафимы Антоновны: вы ошибаетесь. Кто из нас силь-

* «Человек есть бог и бог есть человек» (нем.). Эти слова взяты из предисловия Людвиг Фейербаха ко второму изданию его «Сущности христианства». — Ред.

** Paulo post futurum (лат.) — немного спустя будущий.

*** Nomina sunt odiosa (лат.) — имена ненавистны.

**** Favete linguis (лат.) — благоприятствуйте молчанию.

нее в диалектике, этого я вам не умею доложить. Вы тут разбили меня, я согласен-с, но вы ошиблись, — это была мелкая стычка с казаками Платова, — до Смоленска еще далеко, — путь от границы до Смоленска длинноват-с. И скучноват, — потому вы хотели остановиться зимовать, не доходя, в западных губерниях: сие было бы плоховато для меня по топографическим обстоятельствам, заключающимся в муже, — или в отце, или в старшем брате, потому что сущность отношений одна и та же: старший в хозяйстве мужчина, имеющий в руках деньги и поэтому держащий в руках волю остальных в семействе, не имеющих самостоятельного дохода, а продовольствующихся на его счет, истина, открытая давно, но начавшая утверждаться со времени [Кенэ], бывшего медика двора Людовика XV, Адама Смита, который написал этнографию Англии, неудачно названную «Трактат о богатстве народов» — она главным [образом] посвящена рассмотрению вопроса о [том], который из двух [обычаев] семейной жизни лучше: обычай светских людей, у которых даже муж [и жена] имеют отдельные комнаты, или обычай простонародья, преимущественно русского, у которого все семейство, от старых до малых, спит в одной комнате; решая этот вопрос очень основательно, он говорит, что обычай светских людей лучше, потому что удобнее и полезнее для здоровья, а что, впрочем, это форма, главный же вопрос в провианте, — что и доказывается примером заботливости всех наций, правительств и главнокомандующих о продовольствии их армий во время севастопольской осады, преимущественно же [Н. И. Пирогова] бывшего тогда главным медиком в русских госпиталях и служившего прежде профессором в Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академии.) ...ибо плоховат, и ретраншементом* быть не может, а также и по провиантской части для войск моих неудобно, ибо сия местность пуста и гниловата от множества болот, что знаменует самую персону. Я говорил, что мы с Ильею Никитичем вас пощелкали тут, и долго звал вас млекопитающий Дронт-Дуду, — по разным основаниям, из которых достаточно двух: сие было приятно для вас и полезно для нее. Она дрянная женщина, но человек; и притом, ведь неизвестно, не была ли бы эта плоховатая натура и довольно хороша, если бы сначала отец и мать, а потом муж у ней были лучше. И муж тоже дрянной человек, — но тоже человек, и притом не из дурных, а из очень сносных, — даже хороших людей «в условном смысле слова», как вы его называете. Следовательно, почему ж не принести ей пользу вместо вреда? Я приносил, по мере сил, учащая сладкое для нее прозвание. Но более руководился желанием доставить удовольствие вам, потому что вы человек несравненно лучше, чем она, а вы восхищались этим именем. Если бы были королева Виктория, вы дали бы титул баронета, а может быть и барона, в просторечии называемого просто лордом, Илье Никитичу за изобретение этой клички, — и вы были правы, что гордились ею. Она даже на третью долю утешила в вашем огорчении от измены, — потому что похвала лестна и самому независимому человеку, а смех дураков есть похвала. На другую третью долю вы утешились сознанием собственного искусства, которое было, точно, довольно велико, хоть не так велико, как могло бы казаться человеку менее меня опытному в диалектике. Я не занимался никогда игрою на бильярде; потому что никогда не имел склонности к ней. Это не мешает мне знать, что сделать желтого шара карамболом в среднюю лузу считается у игроков хорошим ударом. Но [вы] чересчур гордились им: понятно, человеческое самолюбие. Тут ведь вашему искусству помогала и склонность вашего характера, посему этот карамболь был сделан на бильярде, который имеет склонность к лузам, так что шар катится сам. Все бильярды, стоящие у Доминика, таковы. Они не ценятся знатоками игры, но Доминик дорожит ими, ибо они выгодны: на них скорее кончатся партии. Под этим иносказанием, Борис Константинович, мы понимаем дело просто: ваша переписка в дубликатах была хороша. Но ведь я что-то не помню, Борис Кон-

* Ретраншемент (фр. retranchement) — окопное укрепление.

стантинovich, знаете ли по-латыни, — если вы точно магистр, то знаете, ибо это требуется на экзамене, который есть формальность не важная, но не имеющая в себе ничего предосудительного; если вы не были в университете, то, конечно, не знаете, ибо латынь светскому—да и никакому [человеку] — не нужна,—мы же по-латыни знаем, потому знаем, от чего происходит слово дипломатия, — от латинского слова *duplicatus*, удвоенный, от обычая писать все важные документы вдвойне; дипломатические документы важны, посему токмо одни невежды, — под каковыми разумею не владеющих французским языком, ибо сей язык есть дипломатический, которым вы и владеете в совершенстве. Обычай основательный. Потому что всегда надобно существовать особому экземпляру документов для обнаружения. Но ведь, с другой стороны, Борис Константинович, я не знаю, ловкость или природа больше действовала тут в вас. Обыкновенные знатоки предположили, что только ловкость; и я тоже по своей простоте думал, — уж Илья Никитич, который сам был когда-то ловок, высказал мне психологическое наблюдение, что тут было мало расчета: это действовала природа пропагандиста, — это очень верно и точно; самому мне где ж было понять это, — я никогда не занимался волокитством, но Илья Никитич сказал мне; конечно, я назвал себя просто-филюю за то, что сам не догадался: очень простая штука. Серафима Антоновна была для вас двойной женщиной, и вы были двойной человек с ней. У вас с нею была интрига, — вы писали письма, как волокита, об обыкновенных вещах. Но другой Борис Константинович к другой Серафиме Антоновне был в самых чистых отношениях. Переписка Абеяра и Элоизы тоже двойная. Они не хитрили этим, писали в двух манерах не на тот случай, чтобы Элоиза могла обмануть мужа, нет, по уговору писал один Абеяра. Ваша Элоиза, конечно, писала вам только в одном стиле, и разумеется, было отчасти забавно, что вы увидели и другую Элоизу в вашей Элоизе, которая не была двойным существом. Отчасти, точно, забавно, — ну, что ж, я не могу иногда удержаться от улыбки, когда нечему смеяться, как Гоголевский прапорщик Дыркин, которому «покажите палец, он и расхохочется». Но только дураки и юноши смеются над ошибками юношей, — на первых порах как же не ошибаться, — это натуральнс. У нас в петербургском университете был профессор латинского языка Фрейтаг — позвольте, однако: что это, мне помнится, у Гримма в Немецкой Мифологии сближаются слова: богиня Фрея, — богиня плодородия, Freitag, праздничный день, пятница и свободный день, три смысла в одном слове; früh — рано, Frühling — весна, — ну, это все понятно, — но как же у него Jungling, молодой человек, — тоже сближается с этим—забыл; а хорошо бы сделать каламбур из имени Фрейтага через какую-нибудь филологическую уловку, чтобы Фрейтаг значило молодой или молодость, а он желт и стар, как тот его любимый список Горация, сличением которого с Альдинским изданием* он гордился, как важным ученым подвигом; и как это странно: такой сухой человек, как Фрейтаг, любил и понимал живопись, всякое изящество. Ведь это был фанатик латинской грамматики, не занимался собою, — фанатизм, иссушающий человека до того, что он живой мертвец, — фанатизм ведь может и в грамматике, и в хронологии, как в сектантстве, все равно, — фанатизм соединяется с любовью к изящному, — это любопытно в психологическом отношении.

Однако, как же я рассеян! Куда забрел! Какая же связь между Борисом Константиновичем и Фрейтагом была у меня в мыслях? Ах, да, так Фрейтаг не смеялся над студенческими ошибками в латинском разговоре с ним, — конечно, помни, что делал ошибки в нем, когда был студентом. Разумеется, и Илья Никитич не смеялся над вами, Борис Константинович, за промах, — и я, который не профессор латинского языка, не Фрейтаг, — пламенный юноша, — а Неволин, юридический профессор, но который тоже, как человек, знает латинский язык хорошо, — это ему нужно, потому что в его пред-

* Альдинские издания — издания венецианского книгопечатника Альда Муноция (1447—1516).

мете, в гражданском законодательстве значительная часть источников писана на латинском языке,—так даже и я не смеялся. Это мы знали-с, когда с Ильей Никитичем приезжали к вам делать вам выговор, а я присутствовать (в качестве) публики, чтобы засвидетельствовать остальным болтунам,—потому что ведь я болтун, у каждого должна быть своя профессия-с, потому что без профессии нельзя жить на свете-с, это не нами выдуманно-с, что с профессиею-то спокойнее жить на свете, чем без профессии,—у Алквиада была профессия рубить хвосты у отличных и любимых своих собак, чтоб говорили про собачьи хвосты-с, чтобы этими-то-с хвостиками-то-с роттики-то-с затыкать,—это был точно гениальный человек, потому что он изобрел профессию,—да-с, он-то точно гениальный человек; ну, а теперь-то ведь по истории-то известно,—даже так и у Кайданова говорится: «Сей гениальный юноша, блистающий метеором на прекрасном афинском небе, не столько заслуживает свою славу победами,—по словам песнопевца

Под пленительным небом Сицилии
В благовонной древесной тени,

и на лазоревых водах Малой Азии, сколько изобретением профессии». Так говорит историк Кайданов. Мы же слыхивали о Вико и Гегеле, хотя и не читали оных по их устарелости, относительно какого-то пункта мы с вами, Борис Константинович, согласны,—и потому мы в состоянии изложить вам историю профессии по Гегелю, примененному к Вико, что для вас не будет новостью, ибо она история известна не токмо магистрам, каков вы, но и кандидатам и действительным студентам,—итак, не ученостью хотим блистать пред [вами], а токмо засвидетельствовать, что и сами ложку мимо рта не проносим.

История профессии по Вико, в Гегелевской форме построения.

Круг I. Общий характер профессии. Однообразие. Момент первый от Алквиада до кардинала Ришелье. [по Вико] Алквиад изобретает собачий хвост. Вопрос любознательного афинянина на торжище града: кто есть сей рекомый и что соделывает?—Ответ всезнающего афинянина: Сей Алквиад есть царь и соделывает рубление собачьего хвоста. Посему как любознательный афинянин, так и всезнающий афинянин довольны, не алчат и не жаждут, ибо (истолкование по Гегелю. Момент отрицательный) Алквиад страдает легким недостатком, что и требовалось доказать.

Период второй. От кардинала Ришелье до Фридриха II.

Вопрос либерального француза в салоне. Mais, monsieur, que direz vous de monseigneur le Cardinal?—для ясности, перевод: что вы скажете о Ришелье? Ответ всезнающего француза: Ришелье пишет стихи,—это его страсть,—и очень плохие;—кто хвалит его стихи, тот ему нравится,—уверю вас;—хвалите его стихи и будете водить его за нос. Я сам так делаю.—Результат прежний, ибо (истолкование по Гегелю. Момент положительный. Занятие делом хорошим) Ришелье все-таки можно водить за нос,—что и требовалось доказать.

Период 3. От Фридриха II до Французской революции. Вопрос любознательного австрийско-саксонского дипломата: Что делает Фридрих II?—Ответ:

всезнающего французского философа
всякого пруссака в унисон в тоне
ut dieze: вольнодумствует

ибо (Истолкование по Гегелю. Момент синтетический. Занятие делом по мнению одних хорошим, по мнению других дурным, то есть, что называется попросту,—«отделать на обе корки», словенски же речется обоедесноручность ибо) Мы с вами, конечно, не Алквиады, но благодаря развитию наук мы с вами тоже имеем профессии и недурные. Какова ваша профессия, Борис Константинович, это ваше дело, и потому сие не достоверно для меня,—потому молчу, ибо говорить недостоверное значит попасться впросак; моя же профессия: болтун, потому я это и высказываю.

Некто Талейран сказал: «дайте мне несколько слов человека, какого бы то ни было и о чем бы ни было и каких бы то ни было, и я докажу, что его стоит повесить за них». В свое время это было правдиво, умно и благородно. Но с той поры науки [успели] усовершенствоваться, потому в настоящее [время] лучше, — правдивее, полезнее для себя и для ближнего и благороднее будет сказать: позвольте мне написать несколько [слов] о чем бы то ни было и каких бы [ни было] — и кто бы вы ни были, мой читатель или слушатель, я докажу: по одной половине этих слов, что я негодяй, а потому заслуживаю вашей дружбы, — по другой половине, что вас следует повесить, по совокупности же слов — что я человек честный и что вы должны меня благодарить, — и на все сие вы будете соглашаться поочередно, — с удовольствием, так что повешение будет не иначе, как с вашего согласия. И это с удобством производится кто бы вы ни были и кто бы я ни был и каковы бы ни [были] слова. Берем пример: — Я сказал: я болтун по профессии. Только два слова, — и слова правдивые, ибо умный человек не жет — и из сих двух слов будет следовать 1) что я негодяй, после того 2) что вас (кто бы вы ни были, — быть может под этим «вы» я разумею вас, Борис Константинович, — но это недостоверно, — потому вернее будет разуместь: всякого по произволу. Итак: вас) следует повесить, 3) что я человек честный и вы должны благодарить меня. Почему же из сих слов: «я болтун по профессии», — почему следуют сии результаты? следуют они по трактату о профессии¹.

Tractatus de professione
editio in usum Delphini
cinendata

то есть «Трактат о профессии, — изданный иезуитами для пользы юноши. Издание исправленное».

(Вопросы по поводу заглавия: А (Что такое профессия. Значения по словарю Кронеберга: исповедание веры; по словарю Дюканжа, более обширному: 1) исповедание веры; 2) звание члена ордена иезуитов. — Итак, невежда — не знает ничего. 2) знающий Кронеберга, который у каждого в руках, несомненно видит, что это исповедание веры; знающий же Дюканжа знает, что сие написано с целью сказать ему правду и с целью подурчить его. В (Для чьей пользы написано. — По подлиннику: в пользу Delphini — справка: по Кронебергу: рыба дельфин; по Дюканжу 1) рыба; 2) наследник французского престола. — Итак: 1) незнающий не видит ничего особенного; 2) малознающий говорит: сие бессмыслица, ибо книга для рыбы — глупо; 3) более знающий видит, в чью пользу написано. Сие по переводу: в пользу юноши, — ясно; хоть не ясно, в пользу какого юноши; — и потому: всякого; сие явствует, но почему не в пользу Дельфина или Дофина, сие не явствует.

С) Издание исправленное кем — иезуитами или не иезуитами, сие не явствует; хотя из-за замены слова, обозначающего рыбу или Дофина, явствует, что исправлено переводчиком перевод автора, с эпиграфом
traduttore — traditore

вопросы: кто автор — не явствует, хотя явствует, что он же есть и переводчик. Что означает эпиграф — означает, что переводчик есть изменник; но кому он изменник: автору ли, то есть себе ли, иезуитам ли, Дофину ли, — юноше ли, сие не явствует.

— Фу, однако, как я рассеян, — продолжал думать я, — чорт знает, как увлекся. Возвращаюсь к вашей истории, Борис Константинович. Я хвалил вас, ругая по поводу этой истории с Серафимю Антоновною. Вы были ловки и благородны. Как она обманула вас, это я знаю. Чего я не знаю, того не знаю: было ли ваше письмо к мужу Серафимы Антоновны с ее ведома, или без ее ведома — этого я не знаю. Илья Никитич предполагал тогда, что дело было так: под влиянием ваших горячих слов она согласилась уехать с вами; но, оставшись одна, испугалась. Между тем ее горнич-

ная знала кое-что и уже начинала кое-что слегка открывать мужу Серафимы Антоновны, ласкавшему эту девушку. Надобно [было] сделать, чтобы сомнения мужа были рассеяны. Это все верно, — не в этом неизвестность, а в том, сказала ли [она] вам о том, что не убежит, или не сказала. В вашей сцене между мужем, ею и вами муж был публикою, в пользу которой дается спектакль. Но кто был актер — сие не явствует для Ильи Никитича. Он так говорил мне: — Возможно, конечно, три предположения: 1) вы актер, полагаясь на то, что она всегда приготовлена и по натуре своей хорошо импровизирует роль; 2) она актер, не сообщая вам, полагаясь на вашу твердость и честность; 3) что вы условились. Третье — конечно, самое правдоподобное средство развязки в подобных случаях. Но, — говорил мне Илья Никитич, — я, — говорит, — не спорю, могло быть и иначе: она могла ждать его, не сообщив, что подвергнет его такой сцене; и наоборот, он мог знать, что она оборвет его, а она могла оставаться в незнании, какое средство он употребит для уничтожения подозрений мужа, — что она только сказала ему: «муж подозревает; пора бросить, — но как сделать, чтобы уничтожить его сомнения, я не знаю, придумайте сами».

То и другое и третье могло быть, — но что было, неизвестно Илье Никитичу; а я сам не могу этого сообразить, я плохо знаю эту часть. Если что похитрее по таким фактам, то не могу сам решать, — могу делать гипотезы, но, не имея опытности, не стараюсь отгадывать, которая из них справедлива. Поэтому я и знаю только то, что сказал мне Илья Никитич: вы условились, что она переселится к вам, и она испугалась. Что она испугалась, это похвально, — куда же такой женщине пускаться в эманципацию? Было бы одно только горе и ей и вам. Но из-за чего вы поссорились? возможны четыре предположения, по словам Ильи Никитича: 1) вы рассердились, узнав, что у ней есть другой любовник, кроме вас (что он был, это факт; но неизвестно, догадались ли об этом; если да, то, конечно, ссора была из-за этого); если так, бегство ее, то есть великолепный отказ от богатства, — средство, придуманное или вами одним, или вместе с нею, — для прикрытия от мужа; 2) вы рассердились из-за того, что она отказалась бежать; 3) вы предложили ей разойтись, начав понимать, что она пустая женщина; — это правдоподобнее предыдущих двух предположений; но 4) всего правдоподобнее, по мнению Ильи Никитича, что просто вы надоели ей, и она отпустила вас в отставку, в таком тоне: «не сердись, мой друг, я сама жалею о разлуке, но она необходима», и проч., а вы искренно плакали, прощаясь с нею, — и применяли к себе, с небольшими переменами, прекрасное стихотворение Пушкина:

Для берегов отчизны дальней*
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, час прощальный
Я долго плакал пред тобой.
Твои хладящие руки**

* То есть для возвращения в первобытное состояние супружеской любви. [Примеч. Н. Г. Чернышевского.]

** От нового погружения в миску с холодной водой — если так, то хладящие по причине неизвестной вам; или же от холодной температуры окружающей атмосферы, по физическому закону, — если прощанье было где-нибудь не в теплой комнате; если так, причина хладения ее рук была, вообще говоря, известна вам; в частности не была замечается вами по горячности вашего чувства. Итак, в обоих случаях, при атмосфере ли, или при миске, руки все-таки действительно могли быть холодные; хотя это уже и роскошь, потому что и мнение достаточно. [Примеч. Н. Г. Чернышевского.]

Меня старались удержать*,
Томленья страшного разлуки
Твой стон молил не прерывать.

На этом стихе вы останавливались, потому что далее не подходит. Что вы читали именно это стихотворение Пушкина, нет сомнения, ибо однажды вы изрекли мне при пожимании руки: Что у вас такие «хладеющие руки» — Сие вы изрекли, не заметив, что в раздумьи напевали что-то невнятное, подходя ко мне, — из сего и следовало, какое стихотворение вы напевали, — а это рукопожатие происходило когда вы расставались со мною, сходя в лавочку городской почты [отдать] письмо с катастрофою. Я сообщил это Илье Никитичу со словами: «как вы отлично угадали, что именно так было дело», — и не усомнился, Но он сказал: «да; но полной достоверности все-таки еще нет; это стихотворение могло относиться в его мыслях к другому эпизоду, быть может, и нам вовсе неизвестному. Он дал нам подметить слишком много. Потому, признаюсь вам (т. е. мне Илье Никитич), во мне пробуждается полное сомнение. Конечно, он человек горячий; конечно, он юноша; конечно, вероятнее всего, что его неосторожность перед нами — дело забывчивости, оплошности. Но — почему знать, что сама Серафима Антоновна не служила для него ширмами перед нами, для прикрытия другой?» Это была мысль мастертская. Мне она никогда [бы] не пришла. Ясно в таком случае, что отношения к Серафиме Антоновне были чисто идеальные, — эфирные, что и переписка с нею не была в дубликаты, — что Серафиму Антоновну он и угощал только поляризующимся диагонализмом. Это проще всего и вероятнее всего. Само собой разумеется, что от этого падает все, что мы считали знающими больше, чем публика, — мираж. Этим устраняется главное неправдоподобие дела, — то, что Борис Константинович с его разборчивостью мог полюбить женщину не замечательной красоты. То, что Серафима Антоновна пуста, пошла, — это, конечно, дает много смешного для избранной публики — но сущность смешного в его ошибке ведь не в этом. Вы видите, какая штука выходит.

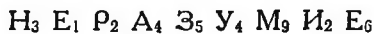
Театр жизни. На сцене Серафима Антоновна и Борис Константинович, Абелья и Элоиза, оба люди возвышенных стремлений.

Что видно из райка, что думает раек? Из райка видно: Элоиза есть жена, верная мужу; Абелья есть дурак, влюбленный в нее. — То же самое и из лож. Ибо таковых спектаклей требует натура сих помещений публики. (Сиречь, глава первая романа, и до половины моего разговора с Лизаветою Антоновною.) Но избранная публика, знатоки, сидящие и сидящие (ибо и дамский пол бывает в креслах, то есть получает магистерский диплом, хотя, действительно, дам тут довольно мало сравнительно с мужчинами, хотя и мужчин не очень много), видит, что Элоиза есть мерзавка (простите за слово), изменявшая мужу, — для Абельяра; но кто бы ни была, она женщина, потому Абельяра есть благородный человек; но, конечно, смешно, что он принял кухарку за Элоизу (а в первых рядах кресел, откуда лица актеров видны, думают: «и это не [было бы] смешно, если бы только была она очень хорошенькая; с очень хорошенькою очень может забыться и не юноша; и мы иногда делаем такие ошибки, что кухарку и принимаем за Элоизу, хоть мы и не юноши, — но то несколько смешно, что ведь она нехороша собою, хоть ее муж вместе со всем райком и думает, что она красавица; нет, она только вакханка, а вакханки бывают всякие, и хорошенькие и дурные. Вот этой ошибки я не сделала бы, — но, впрочем, он юноша, он непытен»).

* В подлиннике сказано иначе: мои руки тебя удержать, — но в вашей разлуке, если она происходила по этой гипотезе, было непременно так: ее руки вас удерживали: опытный заметил бы подделку в избытке ее усердия, — вы же, вероятно, не заметили: хоть не глуп, но юн, следственно глуп. [Примечание Н. Г. Чернышевского.]

Сие мыслится и умалчивается. Если мыслящее есть женщина, то в мыслях есть легкие оттенки разницы, требуемые грамматикой, и которые легко [видеть] всякому, знающему грамматическое различие местоимений «он» и «она». Сие мыслится каждым (и каждой) про себя, и умалчивается от других, не [по] какой-либо другой причине, как по той, что в театре надобно держать [себя] скромно, ибо того требует пристойность и опрятность, качества прекрасные. Посему между собою сии зрители безусловно молчат о спектакле; ибо лгать не хотят. Обращаясь не к райку и лолам, вопиют гласом великим, бия во длани: браво, Элоиза! и шикают Абеяру.

Впечатление: раек и ложи подражают креслам. Элоиза довольна и по окончании спектакля получает искреннее поздравление от добродушного и одеколонного населения лож и сивушного населения райка (ученое примечание, извлеченное из курса технологии г. Ильенкова): Сивуха (популярное или площадное название плохой водки) зловонна. Сущность водки есть алкоголь (популярно: спирт), — все остальное в водке с ученой стороны не важно. — Одеколон и Лоделаванд — косметические средства, в которых сущность — алкоголь; все остальное с ученой стороны не важно. Благовонны. — Алкоголь — химическая формула алкоголя есть



В химически чистом виде, выражаемом этою формулою, не имеет ни хорошего, ни дурного запаха. Но в химически чистом в жизни не обретается, а всегда бывает с какими-нибудь примесями, от которых получает зловоние или благовоние, признак очень важный в том случае, когда человек судит о достоинстве вещей по их запаху, как корова судит о качестве сена, которое она всегда обнюхивает, за что и достойна похвалы, ибо свинья не считает за нужное даже и обнюхивать, а жрет все без разбора.

Итак, Элоиза возвращается со сцены в частную жизнь и объятия мужа, родных и знакомых (в том числе своих бывших, настоящего и будущих любовников, ибо сии объятия также невинны), довольных тем, что она невинна.

Абеяра, отправляясь за кулисы для нового переодевания, как только отвернулся от публики, ибо также доволен успехом.

Что се? дивно бо есть в очесех наших.

Вскую сей юный ликует, когда его ошникали?

Чесо ради все порядочные люди лгут и обманывают при таких сюжетах? Чесо ради тот, кто произнесет малейший намек на истину в подобных случаях, не есть человек порядочный, не есть человек честный?

Штука проста до сих пор: у порядочных людей принято за условие — в подобных случаях [шиканье] есть похвала, аплодисменты же ничего не значат.

Видите диалектику, как переменяются отливы красок?

Условимся, что вы и я произносим слово «дурно», когда хотим сказать: «хорошо», а когда хотим сказать «дурно», то наоборот. Тогда мы и не лжем.

Но вот вопрос: для чего ж это? По причине алкоголя. Но из сего ответа рождается вопрос: вскую алкоголь, рекомый сивуха и лоделаванд?

Вопрос трудный.

Эти размышления в таком подробном виде я делал, читатель, по дороге из квартиры Бориса Константиновича и Лизаветы Антоновны, — в сжатом виде они пронеслись передо мною во время разговора с нею; а потому вызывались им и отражались на нем. Потому я и вставил их в середине разговора, чтобы насколько возможно сохранить связь между ними, — то есть моим мозгом, — и моими словами, то есть моим языком, — видите, я теперь пишу опять без иезуитства, прямо. Итак, я признался вам, что был перед вами иезуитом. Где и в чем, найдете сами. Но теперь я пишу без хитрости, — прямо и честно. Хотите, верьте, хотите, не верьте мне, — мне все равно: я пишу для денег, а выгодно ли [для] меня быть честным в настоящих строках, — неизвестно для вас. Но, говоря, что я хочу теперь [писать] честно, я скажу (судите сами, честно или нечестно скажу) вот что:

Вы читаете повесть. Повесть это или нет, неизвестно вам с достоверностью,— у вас могут [быть] только догадки, (правда ли, что так?). Но из этих ваших догадок самая правдоподобная для вас та, что вы читаете повесть. Вы, вероятно, замечаете, что автор выкидывает какую-то штуку,— к чему эта штука, вы только можете догадываться,—наверное не знаете,— но вот что видите почти наверное: читаемое вами теперь место повести очень важно в ходе этой повести (или не повести, как хотите). Позвольте мне сказать вам, что было бы, — может быть, не бесполезно для вас и что было бы очень приятно для меня. Я прошу вас для меня [исполнения просьбы], которая будет по моему мнению [честна:] честны или нечестны эти мои слова, вы увидите сами, если исполните ее, на что я не смею рассчитывать, хотя моя просьба к вам: перечтите снова мои размышления, которые вы сейчас прочли, — и читайте их по крючкам, потому что в этих размышлениях много крючков; и ведь вам неизвестно, на кого они, — может быть, против вас, — чтобы захватить вас врасплох каким-нибудь неприятным для вас выводом; какой вывод — я скажу вам, что я хочу сделать такой вывод, что вы от него не увернетесь, — какой вывод, вы не знаете еще, — вы можете только догадываться. Само собою, я не могу зарезать или обокрасть вас, или вашего супруга, внести скандал в ваше семейство, — но только потому не могу, что я не подле вас своим официальным организмом, фамилия которого подписана. — Но я могу иметь всяческие гадкие или и хорошие, или и дурные намерения относительно вас и употреблять всякие проделки для их исполнения. Ведь я в душе, может быть, очень дурной человек. Я говорю вам, что я человек страшно самолюбивый (правда это или нет, это неизвестно, — но я говорю это, — судите сам, вероятно ли это), что мое самолюбие приняло в настоящее время такой оборот, который вы можете назвать хорошим или дурным, честным или нечестным, как вам угодно («как угодно», во-первых, потому, что я не могу запретить или приказать вам думать обо мне то или другое, или вовсе не думать обо мне; во-вторых, потому, что это для меня все равно; я не дорожу вашим мнением об моей честности или моем сердце), — но оборот вот какой: мне приятно будет загрязнить, унизить, опозорить вас же не перед другими (я не в силах этого сделать, а если бы мог, то сделал бы почти над каждым и даже над каждою из читающих меня), но опозорить и унижить и опозорить вас в ваших собственных глазах. И мне кажется, что я могу сделать. Для этого я загнул несколько крючков. Один из них я скажу вам: я поведу себя или другие поведут меня в гнуснейшее положение, в такое, что я несколько минут или часов, или дней, или лет, — неизвестно, но я говорю: несколько часов, — буду считать себя дураком, и ежеминутно могущим подвергнуться и достойным подвергнуться ошельмованию, — и я потом стану доказывать вам, что вы, кто бы вы ни были, умели, честен ли, равно, — молод ли, стар ли; мужчина ли, женщина ли, все равно, — что вы — это я. Очень может быть, что уже поняли, в чем этот крючок, — если так, вы уже безопасны от него, — но заметили вы его, или нет, я не знаю; если вы его заметили или хоть даже при втором чтении заметите, то вы можете утверждать, что вы не глупый и не бесчестный человек. Вы прочли эти слова, читатель? вот вам, крючок уже загнут — смотрите сами, что выходит: вы или бросаете читать, или нет; если бросаете, то прочтут дальше другие, и кто-нибудь из ваших знакомых очень может спросить вас, читали ль вы эту мою повесть; если вы вовсе не начинали читать ее, это не стыд вам, — может быть, вам было некогда, может быть, вы не охотник читать, — это не стыд; но если вы прочли до сих пор, то я ведь утверждаю, что если вы не можете назвать эту повесть скучною или глупою, если вы не глупый человек, — и что, следовательно, вы бросили читать ее только потому, что труслили суда над собою в собственном мнении, — что, следовательно, вы нечистый в душе человек. Видите, как я цепляюсь за вас, — я не страшен только для тех, — надеюсь, но не знаю сам, многих ли, — которые чисты в душе, и кроме того для чрезвычайно немногих людей, которые чрезвычайно умны (не хитры, — этого мало: нет, умны), — только для очень немногих по высоте ума и для довольно многих по чистоте серд-

ца,—сердца, это страшно,—а не поступков,—поступки того организма с руками и ногами, которого имя подписано под этою повестью, хороши или дурны,—мне нет дела до этого; я утверждаю только, что я гораздо умнее этого организма, если он умен, и гораздо глупее его, если он глуп, и я утверждаю, что он, этот организм, глуп. Видите, я не жалею его, этого моего организма, который связан со мною, которым я живу — пощажу ли я вас?— Я не враг себе,—смотрите, что с вами говорит, мужчина или женщина, ищите теперь признаков, кто я, слов, показывающих, мужчина или женщина я, безличное существо ли, неизвестно,—ничто неизвестно обо мне—это неизвестно людям,—скажу больше: мне еще неизвестно,—я найду себя только через науку и, вероятно, не скоро найду себя,—а может быть, и скоро. Вы видите, что делается: этот организм, в котором я живу, думает, что я в нем и что я в нем хоть немножко найду себя,—я не надеюсь, чтобы ему удалось сделать это,—куда ж ему, этому организму,—он глуп,—очень вероятно, что меня в нем нет,—ах, как ему тяжело. Этому дурачку—я, вероятно, скоро спрячусь, чтобы дать ему отдохнуть,—может быть, ничего не знаю,—чувствую только, что тяжело, очень тяжело ему, этому организму,—делаю последнее усилие, чтобы сказать вам свое имя, насколько знаю его: вы уже знаете, что это нечто безличное, что это нечто вроде понятия или настроения души,—нет, этому организму тяжело, у него кружится голова,—мне жаль его, это боль небольшая,—для него не знаю, а для меня не велика, скоро брошу его.

Глава третья

Простой рассказ

Алферьев после катастрофы пробует писать другим тоном.

Кто его пишет, для кого пишет, и о ком и с чем пишет.

Кто пишет, это вы знаете, читатель, по подписи под рассказом. Но знать это, мало для вас, и я расскажу, что [вам] нужно, интересно и, вероятно, приятно будет узнать.

Всякий из нас говорит неодинаковым тоном и не об одинаковых предметах с разными своими добрыми знакомыми. Так и я умею отчасти делать, хоть не очень большой мастер вести разговоры, особенно на словах. Все мои добрые знакомые — люди честные, хорошие, добрые. Но все-таки надобно и мне, как всякому, делать разницу в разговорах, по разнице между ними. Разниц между нами много. Одни разницы внутренние, очень важные, иные называют их душевными,—я не называю, по-моему, вернее называть внутренними. Впрочем, разница в словах не важна: надобно только условиться между собою в смысле слов,—это условие очень важное. Соблюдаем его. Я очень люблю возиться над цифрами,—серьезно, я, имя которого вы знаете по подписи,—кто, спрашиваю я вас, хоть это казалось бы лишнее — назовите. Вы (моя добрая знакомая или мой добрый знакомый) произнесите (конечно, в мыслях,—мы очень далеко друг от друга,—вслух было бы смешно, незачем) «Чернышевский». — Нет,—говорю я,—вы ошиблись и по форме,—я люблю, чтоб мои добрые знакомые, когда лично говорят со мною, называли меня по имени и отчеству, и они делают мне эту неважную любезность, за желание которой многие их них и подсмеиваются надо мною, потому что оно показывает человека несветского,—истинные светские люди не зовут друг друга по имени и отчеству

(на этом рукопись «Алферьева» обрывается)